

лениздат



библиотека
молодого
рабочего

С. Варшавский Б. Рест

С. Варшавский
Б. Рест

Билет на всю вечность





библиотека
молодого
рабочего

**С. Варшавский
Б. Рест**

**Билет
на всю
вечность**

ПОВЕСТЬ ОБ ЭРМИТАЖЕ

в трех частях

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЛЕНИЗДАТ • 1986

49.1
Б18

Издание третье

В $\frac{4902020000-094}{M171(03)-86}$ 158—86

© Лениздат, 1978
© Лениздат, 1981, оформление, иллюстрации
© Лениздат, 1986, оформление, предисловие

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Весь день на людях; люди приятные и неприятные, нужные и бесполезные, разговоры, совещания, а после полуночи, только втянешься в работу,— гаснет свет. Хоть вой!

В январе 1919 года Горький написал в Петроградский Совет:

«...У меня гасят электричество в половине первого, не хватает времени для работы.

Я прошу Вас продлить свет до 2-х часов хотя бы.

Таким образом я выиграл бы еще с полтора часа.

Сделайте это одолжение, очень прошу!»

Времени не хватало, и тем не менее к бесчисленным делам, которыми Алексей Максимович Горький занимался в Красном Петрограде, с января 1919 года прибавилось еще одно — Эрмитаж.

Конечно, эрмитажные проблемы волновали Горького и раньше. Об Эрмитаже Алексей Максимович вспоминал по разным поводам и не так уж редко, а с тех пор как Бенуа и еще кое-кто из добрых знакомых поступили на эрмитажную службу, он бывал в курсе всего, что творится в стенах музея. Совсем недавно, в минувшем декабре, когда над

эвакуированными музейными коллекциями нависла опасность их распыления, Бенуа привел к нему на Кронверкский целую депутацию хранителей, и Горький с готовностью присоединил свою подпись к коллективной телеграмме, посланной тогда Ленину. Следствием этой неизменной отзывчивости знаменитого писателя к эрмитажным нуждам и явилось торжественно принятое в Эрмитаже решение, о котором С. Н. Тройницкий как лицо, стоящее во главе музея, поспешил известить Горького:

«Милостивый государь
Алексей Максимович,

Совет Эрмитажа в заседании своем от 15-го сего января единогласно избрал Вас своим почетным членом.

Мне особенно приятно сообщить Вам об этом и выразить надежду, что Вы найдете возможным принять близкое участие в делах Эрмитажа...»

Письмо это Тройницкий сам занес Горькому — дань уважения.

...У Горького на дому Тройницкий был всего единожды — тогда, в декабре, в составе большой депутации — одиннадцать человек. Из Эрмитажа вышли гурьбой, мало-помалу растянулись на версту, впереди — Бенуа, позади — дедушка Липгарт. На Кронверкском ожидали с полчаса у ворот, пока все собрались. Парадное было заколочено, и Бенуа повел со двора, по черной лестнице. Через кухню прошли в просторную столовую, где их ожидал Горький.

...Тот же двор, та же лестница. На этот раз Горький принял Тройницкого в маленькой комнате, служившей ему, видимо, кабинетом. Тройницкий изложил цель своего визита, вручил письмо.

Набив себе и гостю по папироске, Горький осведомился, чем он может быть полезен Эрмитажу в настоящее время. Так, он кивнул головой, возвращение в Петроград эрмитажных коллекций. С Тройницким он полностью согласен — нужно стучаться во все двери, под лежащий камень вода не течет, их совместная телеграмма, судя по всему, уже дала определенные результаты, — что еще надо сделать? Хорошо, он как раз собирается в Москву и рассчитывает, что ему удастся поговорить с Лениным.

Хлопоты о реэвакуации — ничем большим обременять Горького никто в Эрмитаже и не думал: реэвакуация — проблема проблем, а Горький вхож к Ленину, голос писателя, невероятно популярного в России и очень уважаемого большевиками, прозвучит в Кремле особенно веско. Если Горький сумеет добиться возвращения в Петроград увезенных сокровищ, его имя будет навеки вписано в эрмитажные анналы.

Только хлопоты о реэвакуации — так уговорились с Алексеем Максимовичем, но вскоре уговор этот был нарушен самим Горьким. В России начиналась легендарная эра гигантского расширения и пополнения советских музеев национализированными художественными богатствами, и это великое всенародное дело, как и следовало ожидать, не могло обойтись без прямого участия Горького.



За месяц до того как Горький был избран почетным членом Совета Эрмитажа, у него состоялся длинный разговор с Леонидом Борисовичем Красиным, старым большевиком, членом правительства, наркомом торговли и промышленности. Красин говорил о том, что в квартирах, брошенных буржуазией, много богатств становится добычей всякого рода жулья, а окажись там вовремя знающие люди, опытные эксперты, музейщики, антиквары, сколько высокоценных произведений искусства было бы спасено и могло бы украсить наши музеи; даже и то, что не представляет интереса для Эрмитажа или, например, для Русского музея, могло бы по-своему тоже послужить на благо народу — из второстепенных вещей надо будет сформировать экспортно-товарные фонды, столь нужные сегодня стране, измученной блокадой, разрухой, голодом. Красин заранее знал, что Алексею Максимовичу придется по душе его предложение: организовать некую специальную комиссию, антикварно-экспертную, оценочную, суть не в названии, и комиссию эту наделить самыми широкими полномочиями.

В воспоминаниях о Леониде Борисовиче Красине, опубликованных в 1926 году, А. М. Горький писал:

«...По инициативе Красина же учреждена в Петербурге „Экспертная комиссия“, на обязанности которой возложен был отбор вещей, имевших художественную, историческую или высокую материальную ценность,—

в петербургских складах и на бесхозных квартирах, подвергавшихся разграблению хулиганами и ворами. Эта комиссия сохранила для Эрмитажа и других музеев Петербурга сотни высокоценных предметов искусства»¹.

В 1919 году Экспертная комиссия только начинала свою деятельность. Существовали в Петрограде и другие государственные организации, выполнявшие сходные функции по сбережению художественных богатств страны, но главная часть этой огромной работы сосредоточивалась, как и прежде, в Наркомпросе, в тех его отделах и подотделах, которые обосновались на Детской половине Зимнего дворца. Как и прежде, музейными делами здесь занимается правительственный комиссар Ятманов — он так и не собрался сменить свою заношенную солдатскую шинель на что-нибудь попривлекательнее и потеплее; сюда, как и прежде, аккуратно является на службу Василий Андреевич Верещагин — зимой в шубе с бобровым воротником, весной — в пальто от Лидваля.

Куда-куда, в пустующие, бесхозные квартиры Василий Андреевич ходил с крайней неохотой. Ему ка-

¹ Постановление об образовании Антикварно-оценочной (Экспертной) комиссии было принято Наркоматом торговли и промышленности 31 декабря 1918 года. Примерно через год Л. Б. Красин, тогда уже нарком внешней торговли, указывает в одном из служебных документов: «Экспертная комиссия была организована под председательством товарища Горького, который посвятил этому делу много времени и еще больше энергии и сил, сумел привлечь выдающихся знатоков и специалистов и спас для Республики ценностей на много миллионов...» Позднее Горький писал в Совнарком:

«До 1-го октября 1920 года „Экспертная комиссия“, работая в составе 80 человек под председательством А. Пешкова, образовала два склада отобранных ею вещей, в количестве 120 000 различных предметов, как-то: художественной старинной мебели, картин различных эпох, стран и школ, фарфора русского, севрского, саксонского и т. д., бронзы, художественного стекла, керамики, старинного оружия, предметов восточного искусства и т. д.

По оценке 15-го года стоимость этих вещей превышает миллиард».

В архивах хранятся десятки списков с перечислением картин, портретов, гравюр, старинной мебели, древних книг и т. д., которые Экспертная комиссия передала Государственному Эрмитажу, Русскому музею, Академии наук, Музею старого Петербурга и в другие музейные хранилища.

залось предельно бестактным бродить, не снимая пальто и шапки, по чьим-то чужим гостиным, по чьим-то чужим спальням, по чьим-то чужим столовым, брать в руки и бесцеремонно рассматривать чьи-то чужие вещи, зачастую весьма дорогие, оценивать их, описывать, уподобляясь судебному приставу. Он где-то читал, не у Чехова ли, что судебные приставы быстро спиваются,— есть черта, переступать которую порядочному человеку не дозволено. Он предпочел бы заниматься только дворцами. Царские дворцы — и Зимний, и пригородные — памятники былой славы России, и сознание, что трудами своими он способствует сохранению этих памятников, вытесняет все прочие чувства. Он как бы погружается в атмосферу минувших эпох, когда, стараясь не упустить малейшие детали, скрупулезно восстанавливает дворцовые интерьеры. Ему все здесь любо, историей дышит здесь каждая вещь, излучает какие-то психические токи, флюиды исторических происшествий.

Дворцы — его прямое дело. С дворцами, как и ранее, связаны его ежедневные занятия, но теперь он уже не та важная персона, какой был на первых порах после большевистского переворота; теперь он уже не председатель Художественно-исторической комиссии Зимнего дворца, а всего-навсего один из многочисленных служащих Комиссариата просвещения, эксперт Отдела искусств, сам себе не хозяин.

Что было, то было, что есть, то есть. Никак не думал Василий Андреевич, что ему удастся столь быстро и в общем-то почти безболезненно свыкнуться с новым своим положением. Диву давался и комиссар Ятманов: куда делось барское высокомерие Верещагина, его старорежимная амбиция; даже виду не подал, что обижен, когда пришлось сдавать дела.

Упразднили верещагинскую комиссию еще летом восемнадцатого года. Собрав всех ее сотрудников, Ятманов произнес краткое слово о текущем моменте, а затем — без всякого перехода — заявил собравшимся, что в свете этого текущего момента их многоуважаемая комиссия — пройденный этап, что комиссия реорганизуется, ее функции расширяются и что реорганизованную комиссию отныне будет возглавлять особый правительственный комиссар. Под конец Ятманов выразил пожелание Музейной коллегии: было бы прекрасно, если бы Василий Андреевич и его сотрудники, так сказать, с новыми силами продолжали работу и впредь. «Присутствующие члены и сотрудники Комиссии, — ука-

зано в протоколе, — изъявили согласие принять участие в намеченных трудах».

Верещагин на собрании слова не брал: не много ли комиссаров на его голову?! Но бросать дворцы он не хочет, не может, не вправе; оставшись наедине с Ятмановым, Василий Андреевич сказал, что с облегчением слагает с себя председательские обязанности и что во вновь создаваемом учреждении он вполне удовлетворяется должностью эксперта.

Дела по своей бывшей Комиссии он сдал правительственному комиссару из Отдела имущества Наркомпроса. Какой-то Ерыкалов, личность никому не ведомая. Вроде бы помягче Ятманова и поучтивее, но все равно — одним миром мазаны.



Общие перспективы новому комиссару обрисовал нарком Луначарский, практические советы дал товарищ Ятманов, и потому, впервые обходя с экспертом Верещагиным этажи Зимнего дворца, комиссар Ерыкалов интересовался не столько приведенными в порядок покоем бывших императоров, сколько теми художественными ценностями, которые, как он уже знал, после Октябрьского переворота свозились сюда, в Зимний.

Где — что, что — где! Всевозможные вещи, изъятые у имущих классов, произведения искусства, наспех увязанные, обернутые в рогожи, в мешковину, а то и просто в обрывки обоев и старые газеты, сложены в самых неожиданных местах огромного дворца. Но это не беспорядок, не ералаш, а — так Ятманов ему и говорил — это продуманная система: одна партия вещей намеренно обособлена от другой; похоже, что Верещагин задался целью не смешивать вещи, конфискованные у разных владельцев. Ерыкалов напрямик спросил об этом Верещагина, но тот ничуть не смутился:

— Насколько мне известно, господин комиссар, в ваших государственных музеях, в том же Эрмитаже, частные коллекции, поступившие на хранение, тоже содержатся раздельно, даже в обособленных кладовых.

С порядками в музеях Ерыкалов еще не успел ознакомиться, но то, что он знает, он знает твердо: в Комиссариате просвещения существует идея из всего отчужденного художественного имущества создать государственный музейный фонд, — известно ли об этом уважаемому товарищу эксперту? — колоссальнейший

фонд из тысяч, десятков тысяч предметов, чтобы планомерно распределить по музеям произведения искусства, те, которые отобраны у буржуазии.

— Бог дал, бог и взял,— усмехнулся Верещагин. — Конфисковывать теперь каждый может, дело нехитрое. — Он сдержался и не добавил, что бог может еще и смилостивиться, может еще и вернуть этой самой распроклятой буржуазии отобранное у нее большевиками.

Комиссар продолжал развивать свои планы, Верещагин вежливо слушал, больше не перечая. Начинать с оппозиции новому комиссару было бы в высшей степени неумно, да и, кроме того, если быть честным, как бы там ни обернулся ход политических событий, действительно нельзя держать истинно музейные вещи раскиданными по дворцовым закоулкам — пагубно для вещей!

Расстались, чтобы встретиться завтра утром на первом пленарном заседании Комиссии по охране и регистрации памятников искусства и старины — так теперь называлась реорганизованная Художественно-историческая комиссия Зимнего дворца¹.

«Председательствовал правительственный комиссар В. И. Ерыкалов», — помечено в журнале заседаний. Доводы в пользу создания музейного фонда, изложенные председательствующим, Верещагин в своем выступлении обошел молчанием, но — неожиданно для многих — поддержал предложение комиссара сосредоточить в одном помещении все художественные ценности, свозимые во дворец. «Комиссия, — записано в протоколе, — ...нашла необходимым предоставление в Зимнем дворце подходящего помещения из нескольких комнат для склада и хранения вещей, как уже поступивших, так и вновь поступающих».

Название комиссия получила новое, задачи ее видоизменены и расширены, но персонал все тот же, тщательно подобранный для себя Верещагиным. «Основной кадр комиссии, — свидетельствует комиссар В. И. Ерыкалов, — составил из Художественно-исторической комиссии Зимнего дворца». В большинстве своем это бы-

¹ В дальнейшем, с ноября 1918 года, комиссия эта была преобразована в соответствующий подотдел (охраны и регистрации памятников искусства и старины) Отдела имущества Наркомпроса.

ли люди, Верещагину близкие, сотрудничавшие с ним в редакции «Старых годов», сотоварищи по Кружку любителей изящных изданий и прочим литературно-художественным начинаниям Василия Андреевича. Были здесь и петербургские коллекционеры, обладавшие неограниченным опытом собирателей старины,—одни пошли на работу в комиссию, надеясь таким путем раздобыть вожделенную «охранную грамоту», оберегающую квартиру от уплотнения и коллекции от реквизиции; другие, по тем или иным причинам уже лишившиеся своих коллекций, тоже с охотой брались за охрану художественных памятников, потому что служба эта все-таки избавляла их от всяких трудовых повинностей и революционных налогов и, кроме того, давала возможность — в ожидании лучших времен — повседневно пребывать в непосредственном общении с произведениями искусства, пусть и не находящимися в их личном владении, но от этого не менее прекрасными. Состояли при комиссии и совсем молодые люди — они недавно окончили университет (или Бестужевские курсы), стремились к служению науке и искусству: кто мечтал о службе в Эрмитаже, кто о службе в Русском музее, — а поскольку музеи были закрыты, они усердно занимались учетом и регистрацией доставляемых в Зимний дворец разнообразных художественных ценностей, изучали их, составляли подробные научные описания.

К «основному кадру» своей комиссии — петербургским ревнителям старины — комиссар Ерыкалов быстро привык, что называется — ужился. Наилучшие отношения установились у него и с «леваками» — петроградскими футуристами, заправлявшими всеми делами в наркомпросовском Отделе изобразительных искусств, — ИЗОотдел не раз извещал комиссию о художественных произведениях, о старинных вещах, нуждающихся в охране; первое такое извещение было направлено Ерыкалову 19 сентября 1918 года, в день, когда Совет Народных Комиссаров принял декрет о запрещении вывоза за границу предметов искусства и старины.

В письме говорилось:

«Отдел изобразительного искусства получил сведения от М. Горького, что на складах Елисеевых имеются картины. Просим сделать соответствующее распоряжение для осмотра их. (Справки можно навести у М. Ф. Андреевой, Литейный, 46, т. 46—62)».

Подпись, стоявшая под письмом, произвела сенсацию в среде верещагинцев: Николай Пунин, тот самый футурист, чье публичное заявление о ненужности охраны старого буржуазного искусства недавно эпатировало художественный Петербург! На склады Елпсеевых тут же отрядили двух экспертов.

Рассказывая впоследствии о том, как Комиссия по охране, учету и регистрации постепенно превращалась в мощный Государственный музейный фонд, В. И. Ерыкалов особо отмечает, что в этом важнейшем деле «удалось использовать самые противоположные элементы — от собственников, у которых отбирались вещи, до сторонников уничтожения этих вещей из ложно понятого принципа разрушения старого».

В 1919 году в работе по учету и регистрации художественного имущества уже принимали участие и эрмитажные ученые. «Тут были полностью использованы опыт и эрудиция персонала Эрмитажа,— говорится в отчете музея,— сотни и сотни тысяч предметов были проэкспертированы, описаны, направлены в хранилища». Но для того чтобы с ордером, оформленным большевистским комиссаром, спокойно входить в бывшие великокняжеские дворцы, или в брошенные владельцами особняки, или в бесхозные квартиры, эрмитажным хранителям, даже самым среди них прогрессивным, потребовалось преодолеть психологический барьер, еще вчера казавшийся неодолимым.

«Paris, France».

Поздравительную открытку графу Толстому (без точного адреса, *poste restante* — до востребования) Эдуард Эдуардович Ленц опустил в почтовый ящик с тем же чувством безнадежности, какое испытывает терпящий бедствие мореплаватель, бросая в разбушевавшийся океан закупоренную бутылку: один шанс из тысячи, что дойдет по назначению. Однако в любом случае совесть у него чиста — в канун Нового года он не позабыл своего многолетнего покровителя, друга, начальника. *Poste centrale. Paris*¹.

¹ Центральная почта. Париж (франц.).

Из-за его крупного почерка мало что уместилось на открытке — сердечные поздравления с наступающим тысяча девятьсот девятнадцатым и несколько строк с эрмитажными новостями: директором утвержден Троицкий, а Александр Бенуа, как и предвидел граф, покидая Петербург, прочно обосновался в Эрмитаже. Головокружительно быстрая карьера: не успел вступить в должность хранителя Отделения французской и английской живописи, и — ein-zwei-drei!¹ — избран уже и заведывающим всей Картинной галереей.

«Вот какне у нас дела, Ваше Сиятельство...»

Согласившись возглавить в музее Картинную галерею, Бенуа никого с насиженного места не согнал, как злоязычили его недруги, никого не оттеснил, не ущемил ничье самолюбие. Никто с ним на выборах и не конкурировал. Его предшественник Эрнест Карлович Липгарт еще летом, ссылаясь на возраст, переложил свои административные обязанности на Джемса Альфредовича Шмидта, а Шмидт, прочтя пробные лекции в университете и получив звание приват-доцента историко-филологического факультета, увлекся педагогической деятельностью и вынужден был сократить часы, отдаваемые Эрмитажу². Баллотировался, таким образом, один Бенуа. Представлять Александра Николаевича почтенному собранию не было никакой надобности, но процедура голосования требовала, чтобы кто-нибудь формы ради его аттестовал, и сделал это Шмидт. Он сказал, что в пользу кандидатуры Бенуа на должность заведывающего Отделом Картинной галереи говорит решительно все — и положение, которое Александр Николаевич долгие годы занимает в русской художественной жизни, и известные его работы по истории мировой живописи, и, наконец, то, что он являет собой редкий пример знатока самих произведений, а не только литературы о них. Шмидта поддержал Липгарт. Слушая дифирамбы в честь Бенуа, Ленц горестно покачивал головой: о, Coridon, Coridon, quae te dementia caepit!³ —

¹ Раз-два-три! (Нем.)

² В конце 1918 года Э. К. Липгарт был избран хранителем Отделения итальянской и испанской живописи, а Д. А. Шмидт — хранителем Отделения фламандской и старонидерландской живописи.

³ О, Коридон, Коридон, какое безумие тебя охватило! (Лат.)

в музей и без того образовалось чересчур много поборников новшеств, теперь они сгруппируются вокруг Бенуа; был бы хоть навязан властями, тут выхода нет — смирись и терпи, а то сами посадили себе на голову постороннего человека, по собственной воле, по собственной почину — *sponde sua, sine lege*¹.

Посчитать Александра Бенуа чужаком можно было только со зла, только в пику его сторонникам. Бенуа справедливо говорил, что Эрмитаж прошел через всю его жизнь. «Я рос в семье академического закала, и хотя все мои ближайшие родные были архитекторами, но о живописи у нас было много толков». С детских лет он требовал, чтобы его брали с собой на выставки и в музей; потом, когда он немного подрос, в Эрмитаж его стали отпускать одного. «Я уже закахивал в Эрмитаж (куда меня однажды не впустил швейцар, так как я был в коротких панталонах, а „детям без взрослых вход не допускался“), я уже был влюблен в Рубенса, Ван-Дейка, Хельста...» Окончив гимназию, учится он, однако, не в Академии художеств, а на юридическом факультете; правда, в светлые часы дня его не найдешь в университетской аудитории, он в Эрмитаже, копирует старых голландцев. «По общему образованию я юрист... По художественному — автодидакт²». Университет позади, но дипломированного юриста по-прежнему влечет Эрмитаж, он даже пробует устроиться сюда на службу — увы, безуспешно. Он уже участвует на выставках, он становится и театральным художником. «Мое первое выступление в театре — декорация к опере А. Танеева „Месть Амура“ в Придворном театре Эрмитажа». В автобиографической заметке «Моя собственная персона» Бенуа говорит о себе: «Я и художественный критик, я и журналист, я и „просто живописец“, я и историк искусства...» Живописец Бенуа в молодые и в зрелые годы всегда учился у старых мастеров в эрмитажной Картинной галерее; Бенуа-журналист горячо ратовал в своих «Художественных письмах» за приобщение питерских рабочих к высокому искусству, собранному в залах Эрмитажа, — он считал бессмысленным, если не преступным, существование музеев, недоступных трудовому люду; перу историка искусства Александра Бенуа принадлежит и «Путеводитель по Картинной галерее Императорского Эрмитажа», знаменитый в свое

¹ По собственному почину, без давления закона (*лат.*).

² Самоучка.

время путеводитель, о котором Игорь Грабарь тогда же, в 1911 году, написал: «Ни один музей Европы не имеет такого идеального чичероне, в одно и то же время безукоризненно научного и увлекательного, серьезного и легкого, дающего новые взгляды и открывающего неожиданные перспективы с мудрой простотой, неприметно для читателя, без тени навязчивости, без искусственной оригинальничанья».

...Большая часть картин, названных в его путеводителе, второй год зимует в Москве.

Картины, которые он знает с детства.

Ему сейчас под пятьдесят, он заведует Картинной галереей Эрмитажа, у него тьма обязанностей и хлопот, связанных с революционным временем, но у него и права, какими не обладает во всем мире ни один музейный деятель.



В самом начале девятнадцатого года, в первых числах января, Тройницкий и Бенуа, оба — члены Коллегии по делам музеев, узнали от комиссара Ятманова, председателя Коллегии, что военное ведомство будто бы претендует на Мраморный дворец. Ятманов настойчиво советовал не тянуть и как можно скорее заняться в Мраморном дворце отбором художественных предметов для Эрмитажа.

— Очень прошу, не мешкайте, — несколько раз повторил он. — Вещи там стобящие.

Что за дивные вещи собрал у себя во дворце великий князь Константин Константинович — картины, скульптуру, предметы прикладного искусства, — Бенуа и Тройницкий знали, разумеется, куда лучше Ятманова. Тем не менее настойчивость комиссара имела свою подоплеку.

Когда пало самодержавие, сыновья великого князя Константина Константиновича, умершего незадолго до Февральской революции, любезно уступили цокольный этаж унаследованного ими роскошного дворца одному из министерств Временного правительства — министерству труда, а два верхних этажа оставили за собой. В ноябре семнадцатого года цокольный этаж занял Народный комиссариат труда, но наверху, как и прежде, в привычной праздности продолжали обитать «августейшие кузены и кузины» низложенного императора. Вско-

ре красногвардейские караулы, охранявшие комиссариат, заметили неладное: жильцы верхних этажей, прибегая к хитроумным уловкам, пытаются тайком вынести из дворца разные ценные вещи. Кое-кого поймали с личным. Обо всем этом узнали в Смольном, доложили Ленину.

В биографической хронике, охватывающей жизнь и деятельность В. И. Ленина в 1917 году, коротко сообщается:

«Ноябрь, 15(28).

...Ленин вместе с наркомом просвещения А. В. Луначарским направляет наркому труда А. Г. Шляпникову предписание объявить бывшим владельцам Мраморного дворца, что продажа и вывоз имущества художественного характера, находящегося во дворце, воспрещается ввиду национализации имущества дворцов».

Художественные ценности в Мраморном дворце были взяты под строжайший надзор, а через некоторое время, весной 1918 года, еще при графе Толстом, правительственный комиссар Ятманов оповестил администрацию музея, что Государственный Эрмитаж может при желании получить из бывшего дворца К. К. Романова выдающиеся произведения искусства по своему выбору и усмотрению. Однако подобного желания в Эрмитаже не выказали; напротив, в музее пошли разговоры, что власти толкают приличных людей на постыдные поступки: Мраморный дворец не был куплен государством, как это было сделано летом 1917 года с расположенным по соседству дворцом принца Ольденбургского, и любое посягательство на собственность законных наследников покойного великого князя абсолютно недопустимо ни с юридической, ни с этической точек зрения. Словом, предложение Ятманова перевезти в Эрмитаж картины и скульптуры из Мраморного дворца было единодушно отвергнуто. В журнале заседаний записано, что Совет хранителей Эрмитажа находит «возбуждение этого вопроса в данное время неудобным ввиду того, что продажа дворца, к сожалению, не состоялась, а дворец только был реквизирован».

Бенуа в ту пору прямого отношения к Эрмитажу не имел, но когда ему передали, что эрмитажные хранители отказались принять вещи из реквизированного Мраморного дворца, он заявил, что на их месте поступил бы точно так же.

Миллион терзаний испытывал тогда Александр Бенуа; нет, он не раскаивался в том, что с первых дней

революции стал работать вместе с большевиками, строить художественную культуру в новых, революционных условиях, но напор событий был столь ошеломителен, за мировой войной последовала война гражданская — Россия в огне, Россия в развалинах, — и Бенуа, терзаемый противоречивыми чувствами, зачастую бывал не в силах уяснить себе исторический смысл многих революционных деяний пролетарской государственной власти; эта двойственность в восприятии окружающей действительности сказывалась у него во всем, даже в такой специальной области, как охрана памятников искусства, — он никак не мог примириться с некоторыми радикальными мерами, принимаемыми Советским правительством для сбережения национальных художественных сокровищ. Реквизиция картины Боттичелли, произведенная в Москве у княгини Мещерской, совершенно его потрясла. Ему даже показалось неправдоподобным, что в этой «беспрецедентной акции» участвовал столь близкий ему человек, как Игорь Грабарь. «Я не могу поверить, — писал Бенуа своему старому другу в июне 1918 года, — что ты принял активное участие в отобрании у княгини Мещерской ее Боттичелли. Или и тебя заразил общий психоз, выросший на развалинах войны и общей сумятицы?» Обращаясь к Грабарю со словами упрека, Бенуа пользовался односторонней информацией — княгиня будто бы спрятала картину в надежный тайник из боязни ограбления налетчиками-анархистами; он и не подозревал о фактах, которые в Москве были доподлинно известны ВЧК, — о намерении княгини сбыть картину Боттичелли за границу и о деловых переговорах, которые вел с ней по этому поводу германский посол граф Мирбах; осведомлен был Бенуа лишь о том, что чекисты трижды производили у Мещерской тщетные обыски и что в конце концов княгиня, приглашенная в ЧК, не стала более испытывать судьбу и написала коротенькую записку дочери; Бенуа, человек с гипертрофированным воображением, так и видел перед собой клочок бумаги и на нем четыре слова, выведенные дрожащей рукой: «Китти, отдай Боттичелли. Мама».

В конце восемнадцатого года, когда Бенуа был избран одним из хранителей Эрмитажа, любая реквизиция, осуществляемая властями, любая конфискация по-прежнему вызывала в музее обостренную реакцию. И все-таки через совсем короткое время отношение старых музейных деятелей к национализируемому художественному имуществу начало меняться — мало-помалу, по-

степенно, по мере того как возрастала общая заинтересованность в выставке, которую всем на удивление затеял в Эрмитаже не кто иной, как тот же Александр Николаевич Бенуа.

Программу первой пореволюционной эрмитажной выставки Бенуа принялся разрабатывать, едва получив в свое управление Картинную галерею. Он утверждал, что еще до возвращения из Москвы основных коллекций музея вполне можно — из того, что имеется под рукой, — устроить большую и разнообразную выставку: живопись и скульптура в окружении предметов прикладного искусства соответствующих эпох и школ; в кладовых он приглядел преотличнейшие вещи, до сих пор в экспозицию не включавшиеся, а вместе с ними, с исконными эрмитажными вещами, он намерен впервые продемонстрировать публике и те художественные произведения, что были благоприобретены в минувшем году, куплены Эрмитажем уже при большевиках.

(Как считать — много ли, мало ли вещей было куплено Эрмитажем в восемнадцатом году у частных лиц за наличный расчет? Финансовые возможности Наркомпроса были крайне ограничены, но в смету Эрмитажа непременно включалась статья — «Приобретение художественных произведений, предметов древности и монет». Деньги быстро иссякали, и тогда выручал нарком Луначарский — он кричал, но изыскивал пути для дополнительных ассигнований. «В этом году, — говорится в отчете музея, — Эрмитажем были куплены такие выдающиеся произведения, как „Вахх“ Микеланджело Караваджо, мраморные рельефы круга Дезидерио и Бернини, собрания итальянских рисунков XVI—XVIII вв. и большое количество предметов прикладного искусства»¹. Одним казалось, что очень много приобретено Эрмитажем на протяжении восемнадцатого года, другие находили, что очень мало, — кто какими глазами смотрел.)

Ничуть не меньше Бенуа увлекся выставкой и Сергей Николаевич Тройницкий — ведь помимо директорства он еще ведал в Эрмитаже Историко-художествен-

¹ Атрибуции некоторых произведений, упомянутых в документах того времени, не раз пересматривались в последующие годы. В частности, картина «Вахх», о которой идет речь, приписывается сейчас одному из художников школы Караваджо.

ным отделом, а приобретения этого отдела в 1918 году были, пожалуй, наиболее эффектны, — Grande exposition!¹ — Тройницкий предвидел громкий общественный резонанс, который обязательно вызовет эрмитажная выставка, размещенная к тому же в залах парадного этажа Фельтенова дома, в Седьмой запасной половине Зимнего дворца, только-только переданной Эрмитажу.

Затея Эрмитажа была одобрена Музейной коллегией. Больше того, комиссар Ятманов, председательствовавший на заседании, так воодушевился идеей выставки, что стал с жаром агитировать за расширение ее программы. Тройницкий и Бенуа охотно согласились включить в экспозицию подходящие вещи из Зимнего дворца и из музея Общества поощрения художеств. — Еще что? — спросил Ятманов, и Тройницкому вдруг безумно захотелось блеснуть на выставке фарфором из знаменитой коллекции великого князя Николая Николаевича. — Бывшего великого князя, — поправил его Ятманов и признался, что запамätовал, где нынче хранится эта великокняжеская коллекция. Тройницкий уточнил — в кладовых Музея Штиглица: о фарфоре он знал решительно все.

Принялись составлять список — великокняжеский фарфор из Музея Штиглица, картины из царскосельских дворцов, вещи из дворца принца Ольденбургского... Тройницкий назвал еще некоторые деэидераты² — аппетит, известно, приходит во время еды. Когда же к концу заседания комиссар Ерыкалов, войдя в азарт, предложил вообще наделить Эрмитаж правом отбирать для задуманной выставки что угодно из конфискуемого художественного имущества, любые вещи, поступающие на склады музейного фонда, Тройницкий вопросительно посмотрел на Бенуа, тот — на Тройницкого, и оба они — вместе со всеми — проголосовали за это предложение.

Словом, Ятманову можно было теперь не опасаться, что Эрмитаж будет воротить нос от реквизируемых вещей. Но Мраморный дворец — дело особое; от Мраморного дворца в Эрмитаже открещивались чуть ли не восемь месяцев, а потому в январе девятнадцатого года комиссар Ятманов и счел полезным лишний раз напомнить представителям Эрмитажа:

— Не тяните, не мешкайте.

¹ Большая выставка (франц.).

² Деэидераты — предметы, книги, необходимые для пополнения какой-либо коллекции, библиотеки и т. п.

Наследники великого князя Константина Константиновича давно подевались кто куда, и чтобы попасть во дворцовые помещения, расположенные в верхних этажах, пришлось во флигеле для служащих разыскать коменданта. «А. Н. Бенуа, — помечено в журнале заседаний Совета Эрмитажа 9 января 1919 года, — сообщает о своем посещении Мраморного дворца. До сих пор все обстоит благополучно...» Во дворце, сказал Бенуа, он пробыл не более двух часов, пока не стемнело, а потому список вещей, отобранных им на эрмитажную выставку, представить еще не может; он сделает это в начале будущей недели; сегодня четверг, значит — вторник или в среду.

В среду Бенуа назвал вещи, которые решил взять. Ему издавна знакомы такие жемчужины в собрании великого князя, как три картины Антуана Ватто, исполненные в несвойственных мастеру крупных размерах и представляющие разные вариации на тему галантных празднеств; из других отобранных картин он отметил «Плач богородицы над телом Христовым» Якопо дель Селлайо, ученика Филиппо Липпи; из скульптур он выделил «Святого Себастьяна» — большую глазурованную терракоту мастерской Джованни делла Роббиа и «Иоанна Крестителя» — позолоченную и раскрашенную статую немецкой работы XV века. Список, составленный Бенуа, направили комиссару Отдела имущества:

«Совет Эрмитажа в заседании своем от 15 января признал необходимым перевезти в Эрмитаж из Мраморного дворца целый ряд картин, скульптур и других художественных произведений, представляющих научно-художественный интерес, ввиду чего просит Вас, товарищ комиссар, распорядиться о выполнении этого».

— Ну-с, милостивые государи, — усмехнулся Тройницкий, — оскоромились, вкусили от запретного плода.

Спустя несколько дней он доложил Ятманову:

«...Ввиду вынесенного, по предложению товарища Ерыкалова, Коллегией по делам музеев от 30 декабря прошлого года принципиального решения об исключительном праве Совета Эрмитажа выбирать и требовать произведения искусства для организуемой Эрмитажем 1-й художественной выставки, — Эрмитаж уже приступил к выполнению этих работ, о чем ставит Вас в известность».

С самого утра Всеволод Владимирович Воинов, управляющий делами Государственного Эрмитажа, начал обзванивать разные петроградские учреждения, имеющие хоть малейшее отношение к гужевому транспорту — к лошадям, к телегам, к саням: Эрмитажу для перевозок картин из Детского Села требуются на день-другой две пароконные подводы. Звонил туда, звонил сюда — отказ за отказом.

Насколько ему было легко и просто раньше — снестись с Конюшенной частью, с генералом Палеологом, а если Палеолог закапризничает — любая петербургская артель перевозчиков рада-радешенька сорвать куш с придворного ведомства. «Упаковываем и перевозим мебель, зеркала, картины, бронзу». Сытые битюги, длинные ярко окрашенные фургоны, грузчики — косяк сажень в плечах.

Опять сказки о добром старом времени... А было ли это «доброе старое время» действительно добрым к нему, Всеволоду Воинову? Художник и литератор, он чуть ли не десять лет протрубил в должности эрмитажного делопроизводителя, тешась только тем, что хоть через канцелярию, но все-таки приобщен к Эрмитажу. Его должность с недавних пор именуется позвонче — не делопроизводитель, а управляющий делами, и все равно — тот же стул в той же канцелярии... Он уже толковал с Бенуа и с Яремичем, оба сказали, что давно ценят в нем тонкого знатока графики, и, надо думать, ему будет вскоре отведено в Эрмитаже новое, более подходящее амплуа¹.

В ожидании обещанной научной должности в Кабинете гравюр многотерпеливый Воинов продолжал выполнять в музее осточертевшие обязанности управляющего делами, и почти все его дела были связаны теперь с выставкой в залах Седьмой запасной половины.

¹ «Горячо поддерживаю кандидатуру Всеволода Владимировича Воинова в ассистенты по Кабинету гравюр и рисунков, — писал 30 декабря 1918 года С. П. Яремич в Совет Эрмитажа. — Нисколько не сомневаюсь, что работа в Отделе эстампов была бы для него не только службой по обязанности, но и настоящим призванием... Следует добавить, что известные Совету Эрмитажа энергия и исполнительность, с которыми В. В. Воинов всегда относился к своим служебным обязанностям, еще полнее дают возможность рассчитывать, что в его лице Кабинет приобретает действительно деятельного сотрудника». На том же листке приписано: «Присоединяюсь к мнению С. П. Яремича о желательности кандидатуры В. В. Воинова. Александр Бенуа».

Перед ним памятка, которую — чтобы ничего не забыть — составил ему Бенуа:

«Написать официальную бумагу в Управление детскосельских дворцов-музеев о передаче картин на выставку, организуемую Эрмитажем.

Предоставить для перевозки две пароконные подводы на полозьях и брезенты.

Просить комиссара Ерыкалова об организации в пути вооруженной охраны из красноармейцев в количестве 6—8 человек».

Бумага в Детское Село отослана еще вчера. О красноармейском карауле беспокоиться нечего — хоть взвод, сказал Ерыкалов. А вот с подводами заколодило: куда ни толкнешься — отказ.

Воинов снова позвонил Ерыкалову, на этот раз по поводу транспорта. Однако могущественный комиссар, в чьем ведении были несметные сокровища музейного фонда, признался Воинову, что сам без колес:

— В прошлом году нас выручала автомобильная рота, кое-когда пожарная часть, ныне же, как ни противно, попали в кабалу к «Рикше».

«Петроградская трудовая артель „Рикша“ имеет в своем распоряжении усовершенствованные ручные тележки на хороших рессорах и резиновых шинах. Тележки эти особенно пригодны для развозки ценных и хрупких грузов... При современном недостатке в городских транспортных средствах артель могла бы значительно облегчить задачи Художественной комиссии...»¹

К письму артели был приложен прејскурант, — цены кусались, и на письме чьей-то рукой сделана пометка: «Доложено комиссару В. И. Ерыкалову. Ввиду высоких цен решено пользоваться услугами „Рикши“ в исключительных случаях».

В январе, однако, обойтись без помощи предпринимчивых артельщиков оказалось уже невозможным. «Решено войти в соглашение с частными лицами и артелями („Рикши“), — говорится в протоколе заседания «по вопросу о перевозочных средствах».

¹ Так по старой памяти кое-где еще называли Подотдел учета и охраны памятников искусства и старины.

Прейскуранты артели «Рикша» имелись и у Воинова — на ручных тележках не раз будут доставляться в Эрмитаж ценные и хрупкие грузы из петроградских дворцов и особняков. Но между Детским Селом и Петербургом двадцать с лишним верст, пустынная, занесенная снегом дорога, и — к досаде устроителей эрмитажной выставки — от царскосельских картин пришлось пока отказаться.



Меньше всего хлопот доставили вещи, отобранные в эрмитажных кладовых и в Зимнем дворце: внутренними переходами их исподволь переносили в залы Седьмой запасной половины. Не очень-то длинна дорога и от Академии художеств на Университетской набережной, и от Общества поощрения художеств на Морской. Но Мраморный дворец еще ближе — вещи отсюда стали поступать уже 5 февраля. В первой «Описи произведений искусства, принятых из Мраморного дворца Отделом Картинной галереи для Эрмитажной выставки» названо десять картин, в том числе триптих Ватто и несколько скульптур. «Означенные картины и предметы приняты на хранение в Эрмитаж. Заведывающий Картинной галереей Александр Бенуа».

Привезли из Мраморного дворца и большую картину испанской школы, почти три метра в высоту, то самое «Распятие», которое в собрании великого князя считалось работой Алонсо Кано. Бенуа и раньше подозревал, что атрибуция ошибочна, но теперь, когда картина в выгодном освещении стояла перед ним на полу, прислоненная к колонне, у него готово было сорваться с языка другое, более громкое имя. Он сходил за Липгартом, и оба, Бенуа и Эрнест Карлович, забыв о времени, до темноты топтались перед картиной. — Зурбаран, — приговаривал Липгарт, — Франсиско Зурбаран, никаких сомнений, el Carabaggio español¹.

К двум эрмитажным Зурбаранам, к «Святому Лаврентию» и к «Воспитанию богородицы»², эвакуированным в Москву, теперь, в Петрограде, прибавился третий — из Мраморного дворца — «Распятие».

¹ Испанский Караваджо (*исп.*).

² В позднейших каталогах эта картина значится под названием «Отрочество Мадонны».

Прослышав, что среди картин, привезенных в музей, объявился новый Зурбаран, Николай Николаевич Пунин (он все еще пребывал в комиссарах Эрмитажа) заглянул на Седьмую запасную половину. Ого, превосходных вещей здесь больше, чем он мог предположить. Он отдал должное нескольким пейзажам, жанрам и натюрмортам фламандской и голландской школ; его восхитил Франческо Франчиа, поступивший из Аничкова дворца, «Мадонна с младенцем и двумя святыми», другая мадонна, из собрания принца Ольденбургского, «Мадонна в пейзаже» умбрийца Джованни Спанья. Затем он надолго остановился перед прислоненной к колонне картиной Зурбарана. Возле «Распятия» застал его Бенуа.

— Впечатляет, Николай Николаевич?

— Какая сила, — отозвался Пунин. — Какая сдержанность выражения!

Бенуа расхохотался. Он помнил, что нагородил Пунин о старых мастерах европейских школ — совсем недавно, в только что вышедшем журнале «Изобразительное искусство».

(В журнале «Изобразительное искусство», в № 1 за 1919 год, в статье «Искусство и пролетариат» Н. Н. Пунин писал:

«...Какое, в самом деле, значение может иметь существующее искусство для пролетариата, коль скоро оно ему чуждо по самому своему существу, по своему классовому происхождению? ...Художественное произведение в лучшем случае коэффициент эстетического вкуса элохи, и пролетариат прав, не интересуясь вкусами своих угнетателей... Какое, в самом деле, дело рабочему до какой-нибудь мадонны, статичной в своем замкнутом рамо́й пространстве, с непонятной умиленной улыбкой и всеми этими атрибутами мертвой и, к тому же, враждебной ему клерикальной цивилизации? Он, привыкший измерять пространство приводными ремнями... разве захочет или сможет оценить эту дребезжащую жидкую живопись, с ее нехитрыми, хотя бы и ловкими приемами... В упорном нежелании пролетариата принять европейское искусство — железная неумолимая последовательность, и те, которые вместе с ним этого искусства не понимают, — те гораздо ближе к подлинной пролетарской идеологии, чем те, которые во что бы то ни стало хотят всучить пролетариату это искусство. Пролетариату действительно не нужно и чуждо все европейское, классовое, индивидуалистическое и теперь мертвое искусство, он его отрицает...»)

Восхищаясь сейчас, в Эрмитаже, картиной Зурбарана, Пунин не сразу понял, чем вызвал смех Бенуа,

а сообразив, улыбнулся и сам — не конфузливо, скорее озорно.

К Пунину за полгода в музее успели привыкнуть, и вообще после недавней статьи Луначарского «Ложка противоядия» словесные фиоритуры Николая Николаевича уже не производили былого оглушающего эффекта. Да и Пунин, приходя в Эрмитаж, умерял свой воинственно-футуристический пыл и, поддаваясь эрмитажной атмосфере, не прочь был порассуждать об истоках итальянского Ренессанса, о флорентийском треченто, о сиенских мадоннах, о Чимабуэ и Гирландайо.

О флорентийском треченто и сиенских мадоннах Пунин заговорил и теперь, когда, высказав еще и еще раз свое восхищение Зурбараном, прошел вслед за Бенуа в так называемый восьмиугольный кабинет — там, по предварительной прикидке, должно было быть сосредоточено итальянское церковное искусство XIV—XVII веков. Бенуа обратил внимание Пунина на «Мадонну с младенцем» неизвестного художника сиенской школы XIV столетия и на святых Ромуальда и Андрея — два образа из запрестольного ретабля¹, приписываемых флорентийскому мастеру того же времени. Тут-то Пунин и блеснул эрудицией: с тонким пониманием предмета сравнивал он искусство Флоренции с искусством Сиены, темпераментно доказывал (хотя Бенуа и не собирался с ним спорить), что в сиенском искусстве готические и византийские традиции сохранились дольше и что оно гораздо явственнее флорентийского окрашено церковностью.

Оборвав себя на полуслове, Пунин с мгновение помолчал, а затем — должно быть по ассоциации, именуемой в психологии «ассоциацией по контрасту», — стал шумно рассказывать о своей вчерашней встрече с Маяковским, о том, что Маяковский ему клятвенно обещал дать на выставку эскизы к спектаклю «Мистерия-буфф», костюмы и декорации, девять вещей — «Потоп из полюса», «С ковчега в небо», «Ад», «Рай», «Коммуна»...

Бенуа слушал краем уха: сенсация Пунина касается, слава богу, не эрмитажной, а совсем-совсем другой выставки...

Как комиссар Эрмитажа, скрепляющий своей подписью важнейшие служебные бумаги, Пунин был, ра-

¹ Ретабль — резная или скульптурная задняя стенка алтаря в католическом храме.

зумеется, в курсе всех дел, связанных с выставкой в Седьмой запасной половине, но он не скрывал, что его куда больше занимает выставка современного искусства, которую Отдел ИЗО Наркомпроса с осени готовит в залах Зимнего дворца. Такой выставки, по словам Пунина, свет еще не видывал: любой живописец, график, скульптор — независимо от эстетических позиций, которые он занимает, — может выставить в дворцовых апартаментах плоды своего свободного творческого труда, — выставить без всяких ограничений, без предварительного жюри и без каких-либо материальных затрат — все расходы берет на себя государство. «Первая государственная свободная выставка произведений искусства!»

Никто из эрмитажных не представлял себе, во что выльется в конечном итоге эта «всеобщая выставка» в Зимнем дворце, но к зиме выяснилось, что участвовать в ней согласились многие петербургские художники, самые различные группировки и объединения — и «Мир искусства», и Общество имени Куннджи, и старики из Товарищества передвижных выставок, «левые» из «Союза молодежи»... Даже в музее, среди хранителей и служащих Эрмитажа, набралось шесть экспонентов: Александр Бенуа и его сотоварищи по «Миру искусства» Браз и Яремич, помощник реставратора по художественной части Альбрехт, управляющий делами Всеволод Воинов и недавно избранный ассистентом Картинной галереи художник Георгий Верейский. Только дедушка Липгарт наотрез отказался выставляться «в компании с кубо-футуристами».

Сообщение о том, что на «всеобщую выставку» Маяковский дает эскизы к «Мистерии-буфф», не произвело на Бенуа ожидаемого впечатления, и Пунин усмехнулся про себя: не в коня корм. Он еще раз окинул взглядом мадонн и святых, прислоненных к стенам восьмиугольного кабинета, и, уже уходя, сказал, что вчера виделся с Луначарским — Анатолий Васильевич очень огорчен, что к музейной конференции с выставками нам не успеть. — И вправду жаль, — отозвался Бенуа, — было бы чем удивить москвичей.

Из-за снежных заносов, усугубивших неразбериху на железной дороге, иногородние делегаты опоздали,

и конференция по делам музеев открылась в Малахитовом зале Зимнего дворца не 10 февраля, как предполагалось, а днем позже. Публика — сплошь музейщики. Поднявшись с председательского места, чтобы предоставить слово Анатолию Васильевичу Луначарскому, академик Ольденбург оглядел зал и, увидев неподалеку эрмитажных ученых, сидевших обособленно, компактной группой, легким кивком поздоровался с ними. Луначарского встретили аплодисментами.

Стенограмма речи А. В. Луначарского не сохранилась (да и велась ли она?), и о круге проблем, затронутых наркомом просвещения на музейной конференции в феврале 1919 года, можно судить лишь по живой записи, сделанной газетным репортером. *Музеи и народ*: «В настоящее время процесс передачи музеев народу у нас еще не завершился, фактически народ еще не вступил во владение музеями... Перед нами стоит огромная задача, как связать музеи с массами... Замечательные приобретения и обогащения ничем не прикроют пустынных зал музеев». *Музеи и просвещение масс*: «Музей должен быть опорным пунктом в деле народного образования». *Музеи и наука*: «Музеи должны служить опорой для науки, не только для выучки, а для действительной науки, которая имеет самостоятельную ценность». И снова — *музеи и народ*: когда Луначарский заговорил о том, что «самой важной целью является не обилие хранящихся предметов, а посещаемость музеев, циркуляризация каждого отдельного музейного предмета», он, по сути, давал расширенное толкование известному высказыванию Ленина по сходному вопросу — *народ и библиотека*: Ленин хотел «видеть гордость и славу публичной библиотеки не в том, сколько в ней редкостей, сколько каких-нибудь изданий XVI века или рукописаний X века, а в том, как широко обращаются книги в народе, сколько привлечено новых читателей...»¹.

Широкий круг проблем был выдвинут Луначарским на Первой конференции по делам музеев. В его речи отчетливо проступают важнейшие тенденции партийной политики в области музейного строительства, которые через месяц, в марте 1919 года, будут сформулированы в Программе РКП(б), принятой на VIII съезде партии:

«...необходимо открыть и сделать доступными для трудящихся все сокровища искусства, созданные на ос-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 23, с. 348.

нове эксплуатации их труда и находившиеся до сих пор в исключительном распоряжении эксплуататоров».

Подобно большинству музейных деятелей, заполнивших дворцовый зал, Сергей Федорович Ольденбург принадлежал к тем российским интеллигентам, кто сначала воспринял Октябрьскую революцию как небывалую катастрофу, кто был, по выражению Ленина, «оглушен могучим крахом старого, треском, шумом, „хаосом“ (кажущимся хаосом) разваливающихся и проваливающихся вековых построек царизма и буржуазии, запуган доведением классовой борьбы до крайнего обострения...»¹. Он был оглушен и придавлен революционными событиями, он открыто выражал свою тревогу за судьбы отечественной культуры, и все-таки в конце 1917 года на бурном публичном заседании Академии наук раздался убежденный и убеждающий голос академика Ольденбурга: «...работающие в Российской Академии наук должны сказать, что, невзирая ни на что, они работали, продолжают работать и будут работать для Родины и науки».

Как бы ни был труден, отчаянно труден весь последующий год — тысяча девятьсот восемнадцатый, академику Ольденбургу на его высоком посту непременно секретаря Академии наук не раз приходилось вочию удостоверяться, что большевикам дороги культура, наука, искусство. В конце года, опять же на общем собрании академиков, он заявил: «В наши трудные и сложные дни многие склонны падать духом и не понимать тех величайших переворотов, которые совершаются во всех странах, у всех народов, переворотов, глубоко болезненных и мучительных, но тем не менее великих и замечательных. И многим из нас — людям науки — начинает казаться, что и наука гибнет от непонимания и невнимания к ней. Опасения эти напрасны...»

Неосновательность его прежних опасений подтверждала и музейная конференция, на которой он сегодня председательствует, притом председательствует не в качестве «свадебного генерала», а как уже признанный музейный деятель: с некоторых пор, с минувшей осени, Эрмитаж стал если не частью, то частицей его жизни, он сам вызвался участвовать в разработке новой, научно обоснованной структуры эрмитажных отделов и отделений; ему предложили войти в состав Совета Эрмитажа — он с удовольствием согласился.

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 191—192.

...Сидя за столом президиума, академик Ольденбург слушает речь народного комиссара просвещения: «Правительство в своей музейной политике желает опереться на компетентное мнение музейных деятелей». Луначарского часто прерывают аплодисментами. Аплодируют и эрмитажные. Как там ни суди, а пожаловаться на непонимание или невнимание нынче музеи не могут.

Сообщая об открытии во Дворце искусств конференции по делам музеев, «Петроградская правда» писала:

«В произнесенной речи тов. Луначарский приветствовал представителей конференции и заявил, что собрание это является новым шагом сближения Рабоче-крестьянского правительства с русской интеллигенцией».

В последний день конференции, по окончании утреннего заседания, администрация Эрмитажа пригласила иногородних делегатов осмотреть Седьмую запасную половину Зимнего дворца, где сейчас готовится первая пореволюционная эрмитажная выставка. Картины и скульптуры еще не были развешаны и расставлены, вещи еще продолжали поступать из дворцов и складов музейного фонда; гостям показали, собственно говоря, черновик выставки, но великолепные дворцовые залы, переданные советскими властями Государственному Эрмитажу, не могли не вызвать общего восторга.

4

Одно из роскошных зданий в Петербурге — дворец для великого князя Николая Николаевича, третьего сына Николая I, — построил в сороковых годах XIX века архитектор Штакеншнейдер, тот же придворный архитектор, который двумя десятилетиями позже заново отделал для цесаревича Николая Александровича, сына Александра II, парадные комнаты Седьмой запасной половины Зимнего дворца. Пролетарская революция переименовала Зимний дворец во Дворец искусств, а переданный профсоюзам Николаевский дворец на Благотворительской площади во Дворец труда. В марте 1919 года, выступая во Дворце труда перед участниками Первого съезда сельскохозяйственных рабочих Петроградской губернии, Ленин сказал:

«Мне особенно отрадно видеть, что здесь, в Питере, где так много прекрасных зданий, дворцов, имевших

совершенно неправильное назначение, товарищи поступили правильно, отобрав эти дворцы и превратив их в места собраний, съездов и совещаний как раз тех классов населения, которые на эти дворцы работали и в течение веков эти дворцы создавали и которых на версту к этим дворцам не подпускали!»¹.

Слова Ленина о петроградских дворцах тотчас же стали известны Ятманову. Он обрадовался — можно подумать, что товарищ Ленин в курсе его очередного конфликта с эрмитажной администрацией.

Конфликт этот не давал покоя обеим сторонам. Он возник еще в январе, как раз тогда, когда между Эрмитажем и музейными органами Наркомпроса установилось, казалось бы, полное взаимопонимание. Все шло хорошо, даже отлично, пока Ятманов в случайном разговоре с Тройницким не упомянул однажды, как о чем-то само собой разумеющемся, что во Дворце искусств по примеру прошлого года будут систематически проводиться общедоступные концерты, публичные лекции, кинематографические сеансы. И вдруг, неожиданно, Тройницкий встал на дыбы — с него хватит и того, что лучшие залы Зимнего забирают под какую-то сумбурную выставку современного искусства; не забыл ли товарищ комиссар о давнишнем решении Музейной коллегии, коим Эрмитажу должны быть переданы не только Седьмая запасная половина, но и все помещения Дворца искусств; доселе администрация музея смотрела сквозь пальцы на то, что во дворце осуществляются мероприятия, пусть и имеющие известную культурно-просветительную ценность, но очень далекие от собственных задач Эрмитажа; ныне же, когда появились реальные надежды на реэвакуацию коллекций, Эрмитаж намерен не на словах, не на бумаге, а *de facto* вступить в свои владельческие права на весь Зимний дворец.

Чего только не наговорили друг другу Ятманов и Тройницкий! «Все постановления Коллегии о передаче Зимнего дворца Эрмитажу, — доложил Тройницкий эрмитажному Совету, — комиссар Ятманов считает как бы не существующими». (В запальчивости Ятманов мог, конечно, сказать всякое, но и Тройницкий, препираясь с Ятмановым, тоже не выбирал выражений.)

Тройницкий стоял на своем, хотя к середине февраля надежда на скорую реэвакуацию опять отпала. Уп-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 38, с. 24.

рямство Тройницкого бесило Ятманова: до лета привезти вещи из Москвы ни за что не удастся — нет подвижного состава, порой приходится прекращать даже пассажирское движение, все вагоны, все паровозы отданы фронту для победы над контрреволюцией; мыслить надо по-государственному, утверждал Ятманов, по-советски, а если так, то как же можно лишать сегодня питерских пролетариев полезного времяпрепровождения в Гербовом и Николаевском залах?

На Тройницкого уговоры не действовали. Скандал дошел до наркома. Луначарский безоговорочно поддерживал Ятманова, и Дворец искусств продолжал фигурировать в газетной хронике как один из главных центров культурной жизни Красного Петрограда — митинги, концерты, киносеансы...

...В марте «Петроградская правда» сообщила о посещении Дворца искусств иностранными делегатами Первого конгресса III Интернационала:

«После торжественного заседания во Дворце труда, состоявшегося в субботу 8 марта, делегаты III Интернационала на автомобилях проехали во Дворец искусств (быв. Зимний), где для них состоялся специальный сеанс кинематографа. На экране прошли все главные этапы Российской революции, начиная с февральских дней 1917 года и кончая последними событиями».

В Зимнем дворце делегатам конгресса Коминтерна рассказали, конечно, чем станут в ближайшие годы эти анфилады дворцовых залов — художественным музеем, не знающим себе равных; пока же, рассказывал Ятманов, и слова его тут же переводили на разные языки, пока же, дорогие иностранные товарищи, в нашем Дворце искусств петроградские рабочие вкушают духовную пищу — музыку, театр. А будет, повторяю, художественный музей.



Отношения между Эрмитажем и Ятмановым не налаживались. Если послушать Ятманова — все, кажется, делается, чтобы угодить Эрмитажу; помимо Седьмой запасной половины передали музею и Ламотов павильон, включая Романовскую галерею; мало показалось — пожалуйста, дали ключи и от Аполлонова зала, и от Георгиевского, одного из самых больших залов в Зимнем дворце. А если послушать Тройницкого, то Ятманов только и занят тем, что строит козни против Эр-

митажа,— одной рукой дает, другой отбирает, разве не характеристична история с той же Романовской галереей?

Романовская галерея явилась поводом для особенно бурного столкновения. Ятманов не видел ничего дурного в том, что галерея, которая Эрмитажу еще явно ни к чему, будет покуда, временно, на протяжении двух месяцев, использована как экспозиционное помещение устроителями «всеобщей художественной выставки» в Зимнем дворце. Однако Тройницкий сразу взял верхнюю ноту: нарушаются прерогативы администрации музея! Словесная перепалка закончилась тем, что Совет Эрмитажа в категорической форме обжаловал действия комиссара:

«Заслушав сообщение директора об инциденте, происшедшем на почве отведения для устраиваемой в Зимнем дворце выставки также и Романовской галереи, переданной в ведение Эрмитажа, Совет единогласно постановил, что помещения Эрмитажа могут быть используются только им самим и для целей, связанных с его научной деятельностью».

Дождались приезда в Петроград наркома Луначарского (Анатолий Васильевич уже перебрался в Москву и бывал теперь в Петрограде лишь от случая к случаю), но ничего не добились: доводы Тройницкого нарком признал неубедительными.

Пришлось Луначарскому урезонивать и Ятманова. Он не раз брал сторону комиссара по делам музеев, когда начался этот бессмысленнейший конфликт из-за Зимнего дворца, но ему рассказали о резкостях, допущенных Ятмановым в полемике с представителями Эрмитажа, о бестактном тоне, сразу накалившем атмосферу, и Луначарский потребовал у комиссара объяснений. — Саботажники они, — только и ответил Ятманов, — саботажники и контры. — Луначарский возмутился: чистейшая махаевщина!¹ К тому же, насколько ему помнится, товарищ Ятманов давал диаметрально противоположную оценку оживившейся деятельности эрмитажных хранителей. Но Ятманов упрямо твердил:

¹ Махаевщина — мелкобуржуазное анархистское течение, возникшее в России в конце XIX века и проповедовавшее враждебное отношение к интеллигенции. Коммунистическая партия всегда вела решительную борьбу с махаевщиной и с отдельными ее проявлениями в годы социалистического строительства.

— Саботажник на саботажнике! Ну что-то там делают, не без того, так что же — в ножки им кланяться? Луначарский посмотрел на Ятманова — грустно, устало:

— А вы, Григорий Степанович, подсчитайте сделанное ими и умножьте на условия, в которых это «что-то» делается,— в каких дьявольских условиях приходится работать ученым; пройдет время, оглянемся, вспомним, и, может быть, нам придется кое-кому из ваших «саботажников» земной поклон отвесить...

Оглянемся, вспомним: гражданская война, интервенция, экономическая блокада, хозяйственная разруха... «Прежде и больше всех,— писал тогда Горький,— от последствий блокады страдают дети, а затем — представители ученого мира, как люди кабинета и лаборатории, плохо приспособленные к практической жизни и мало искушенные в борьбе за кусок хлеба».

В официальном отчете ЦЕКУБУ говорилось:

«Потрясенная непрерывной пятилетней войной (сначала империалистической, а затем гражданской), окруженная со всех сторон тесным кольцом вооруженных врагов, отрезанная надолго от всего остального культурного мира, лишившаяся наиболее цветущих и богатых окраин (Сибири, Кавказа, части Западных и Юго-Западных губерний), страна в это время переживала жесточайший кризис во всех сферах народнохозяйственной жизни, в особенности в области продовольственного снабжения городского населения.

Тяжелое продовольственное положение больше всего отразилось на работниках науки, которые, в силу особенностей своей жизни и душевной организации, оказались наименее приспособленными к резко изменившимся условиям русской жизни.

Материалы, относящиеся к периоду 1918—1919 гг., характеризуют положение научных работников Республики в самом мрачном виде: скудное питание, мизерные оклады и вопиющая нужда в самых элементарных предметах домашнего обихода»¹.

Особенно тяжким было положение в Петрограде. Даже после введения «классового пайка» (а ввели его

¹ Центральная комиссия по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ) была учреждена Советским правительством по инициативе В. И. Ленина и при ближайшем участии А. М. Горького.

в Питере намного раньше, чем в Москве) рабочие промышленных предприятий более полуфунта хлеба никогда не получали¹.

К рабочим, получающим продуктовые карточки высшей категории, с осени восемнадцатого года приравнивали профессору, а 15 ноября «Петроградская правда» напечатала такое сообщение:

«Перевод в первую категорию.

Настоящим объявляю, что положение декрета, распубликованного от 27 октября в «Северной Коммуне» № 141 о переводе профессоров в 1-ю категорию, распространяется на всех научных специалистов Государственного Эрмитажа и Русского музея.

Народный Комиссар А. Луначарский».

Полфунта, разумеется, больше, чем четвертка, но, вспоминает Мария Ивановна Максимова, уже заведовавшая в Эрмитаже Отделом глиптики, «простоишь, бывало, до вечера в хвосте, а хлеба так и не привезут. Когда в городе иссякали скудные запасы муки, булочные вообще не открывались, и хлеб затем выдавали „назад“ — сразу за несколько пропущенных дней, по двум, трем, четырем купонам». А помимо хлеба? «Несколько фунтов мокрого и черного картофеля в неделю, фунт соли на месяц и (только по первой категории и детским карточкам) четверть фунта прогорклого подсолнечного масла. Иногда, как манна небесная, как божий дар, случались экстраординарные выдачи: фунт-другой клюквы, полфунта лука, суррогат повидла, какой-то искусственный мед».

Без котомки за плечами никто из хранителей в Эрмитаж не приходил — а вдруг будут что-нибудь выдавать в магазине Севпроса². В очередях рассказывали друг другу потрясающие истории об умелых людях, которые умудряются обменивать у мешочников на Андреевском рынке столовое и постельное белье, даже граммофоны с пластинками Вяльцевой, даже страусовые

¹ Газета «Северная коммуна» в ноябре 1918 года сообщала: «Хлебный паек в Петрограде впредь до особого извещения остается без изменения, т. е. для 1-й категории — $\frac{1}{2}$ ф. хлеба в день, для 2-й — $\frac{1}{4}$ ф., для 3-й — $\frac{1}{8}$ ф., для 4-й — $\frac{1}{16}$ ф.»

² Кооператив служаных Комиссариата просвещения Северной коммуны, Северной коммуной в 1918—1920-х годах назывались Петроград и Петроградский промышленный район.

веера — на пшено, на муку, на сало. Порой, набравшись отваги, кое-кто из эрмитажных тоже плелся на Андреевский или Покровский рынок, но сноровки не хватало, возвращались ни с чем, без продуктов и без вещей, облапошенные рыночным жульем.

Тяготил и холод — зимой во многих домах лопнули водопроводные и канализационные трубы; тяготила и вечная темень — из-за отсутствия топлива электрический свет в квартиры давали только на два часа.

Темень хуже всего. «Покорнейше прошу о выделении мне для моих вечерних занятий трех фунтов керосина. Заведывающий Отделом нумизматики и глиптики Государственного Эрмитажа А. Марков». Осенью и зимой из месяца в месяц Алексей Константинович Марков, ученый с мировым именем, подавал однотипные прошения в Отдел распределения нормированных продуктов, ибо не в силах был отступить от многолетней привычки к ежевечерним домашним трудам. Три фунта керосина — это целое богатство, если, конечно, откажешься от керосиновой лампы и станешь пользоваться лампадкой. Огонек лампадки, заправленной керосином, горит холодно, но чисто, чище масла. — Главное, — настаивал Алексей Константинович свою молодую сотрудницу Максимову, — главное, мадемуазель, сколько налить керосина в лампадку: надо чуть-чуть, на самое донышко, а перельете — не дай бог, вспыхнет.

Вечером он зажигал лампадку — читал, писал. А утром опять в Эрмитаж — за другой стол, служебный. Дома — в толстой вязаной душегрейке и академической ермолке, здесь — в шубе, успевшей порядком износиться, и в надвинутой на уши меховой шапке. Скинув рукавицу и вооружившись увеличительным стеклом, он перебирает ледяные, будто вот сейчас извлеченные из вечной мерзлоты монеты и медали, составляет научное описание новых поступлений в Отдел нумизматики. В отчете, который он готовит, Алексей Константинович с огорчением констатирует, что «в нынешнем году обогащение Отдела сравнительно с предыдущими годами заметно уменьшилось по двум причинам: во-первых, прекратилась совершенно присылка Археологической комиссией кладов, находимых внутри России, и, во-вторых, прервались сношения Отдела с иностранными его поставщиками, присылавшими ранее множество монет на выбор; вследствие прекращения на Монетном дворе вы-

делки монет и медалей поступлений оттуда тоже не было; таким образом, пополнение собраний Отдела производилось только покупкой частных коллекций и отдельных экземпляров монет, а также передачей разными учреждениями поступавших к ним монет Эрмитажу...» Не одну неделю разбирал он коллекцию золото-промышленника и пароходчика барона Гинцбурга, переданную в Эрмитаж из Отдела имущества Республики, «до пяти пудов русских и иностранных медалей» — так было указано в сопроводительном письме. Алексей Константинович отобрал 132 медали, отсутствовавшие в собрании Эрмитажа, а остальные выделил в дублеты.

«...Затем были переданы Эрмитажу Отделом по учету и охране памятников искусства и старины из числа конфискованных у разных лиц Чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией 4114 экземпляров разных монет. Из них потребовалось Эрмитажу 243 серебряных, 26 медных, 3 железных и 5 цинковых денежных марок. Железные монеты в 1, 2 и 3 копейки предназначены были германским правительством для обращения в Остзейских провинциях, а цинковая марка — для лагерей русских военнопленных в Германии».

День похож один на другой — голодно, холодно, и все же один день не похож на другой. Сидишь с лупой в руке, рассматриваешь коллекцию, откуда-то доставленную в Эрмитаж, не бог весть какую коллекцию, не древности, а новые восточные и западноевропейские монеты, и вдруг — эврика! «Среди них оказалось одно меджидие султана Мурада V, царствовавшего три месяца в 1876 году, чрезвычайно редкая, потому что по низвержению этого султана Абдул-Гамидом II монеты его были изъяты из обращения».

...Дважды в неделю Алексей Константинович Марков приходил в Эрмитаж попозже; в 1919 году он продолжал читать лекции по русской удельной нумизматике в Петроградском археологическом институте.

Когда хочется есть, невозможно отделаться от навязчивых мыслей о хлебных карточках, о фантастическом Андреевском рынке, о счастливицах, умудряющихся раздобыть из-под полы шматок деревенского сала или кулек сахарного песку. А когда уже нечем растопить буржуйку, кости и суставы одинаково цепенеют и у пожилых, и у тех, кто помоложе. Подобно Алек-

сею Константиновичу Маркову каждый в Эрмитаже изо дня в день думал (не мог не думать!) и о хлебе, и о дровах, и о керосине, но каковы бы ни были бытовые невзгоды, каждый в Эрмитаже всегда оставался хранителем, хранителем величайших музейных сокровищ, хранителем Эрмитажа.

Невзгоды у всех одинаковые, радости в каждом отделе свои: у нумизматов — какое-нибудь редчайшее меджидие, в Картинной галерее — «Распятие» Зурбарана из Мраморного дворца или «Мадонна с младенцем», опознанная Липгартом как произведение Пальмы Веккио. «Э. К. Липгарт, — говорится в отчете Картинной галереи за 1919 год, — участвовал в разборке картин, поступающих в Эрмитаж, причем сделал ряд открытий, определил картины Вазари, Пальмы Веккио, Луки Камбиазо...»

Как и прошлой зимой, Эрнест Карлович закутан в шали и башлык. В Картинной галерее очень холодно, но внизу, в Отделе древностей, еще холоднее — настоящий ледник. «Пробыв в залах два-три часа, — свидетельствуют составители годового отчета Отдела, — руки совершенно коченели, и приходилось кончать работу из боязни сломать или испортить неоцененные предметы древности». Здесь, в этом леднике, собирались по определенным дням крупнейшие русские археологи — в состав Совещания, которое теперь руководило Отделом древностей, входили и академик Марр, и академик Ольденбург, и академик Тураев. И здесь же, в этом леднике, день за днем, шесть дней в неделю, хранители Отдела древностей занимались текущей работой, пока руки совершенно не коченели.

Алексей Максимович Горький, тесно связанный в те годы с научными кругами, впоследствии писал Сергею Федоровичу Ольденбургу:

«Я наблюдал, с каким скромным героизмом, с каким стоическим мужеством творцы русской науки пережили мучительные дни голода и холода, видел, как они работали, и видел, как они умирали... Я думаю, что русскими учеными, их жизнью и работой в годы интервенции и блокады дан миру великопечальный урок стоицизма, и что история расскажет миру об этом страдном времени с тою же гордостью русским человеком, с какою я пишу Вам эти простые слова».

Наступил апрель, весна, и на улице намного теплее, чем в Эрмитаже, охолодевшем за долгую зиму. Музейные хранители нет-нет да и заглянут в Ламотов павильон, в Георгиевский зал Зимнего дворца, в Белый зал, в Золотую гостиную,— повсюду предвернисажная кутерьма, не сегодня завтра должна открыться «всеобщая выставка», выставка едва ли не всех петроградских художников. Уже отпечатан каталог, и в нем тоже говорится о суровой зиме, задержавшей открытие выставки: «Работы производились в холодном, неотопляемом помещении, где температура иногда доходила до 12° мороза. Работа в таких условиях шла чрезвычайно медленно, и открытие выставки значительно затянулось». Не по той ли же причине Бенуа и его сотрудники все еще возятся со своей выставкой, с эрмитажной,— в Фельтеновом доме на Седьмой запасной половине...



Открытие Первой государственной свободной выставки произведений искусства состоялось в воскресенье, 13 апреля. В каталоге экспоненты сгруппированы не по художественным объединениям, к которым они принадлежат, а перечислены в алфавитном порядке — от А до Я. Тройницкий не поленился и начал считать — сколько же их всего, экспонентов? Дошел до трехсот и сбился: свыше трехсот художников выставили почти две тысячи работ! Выставка подобна Ноеву ковчегу, «чистые» вперемежку с «нечистыми», и по забавному совпадению — его тотчас заметил Тройницкий — первым в каталоге стоит Альбрехт, свой, эрмитажный, а последним — Степан Яремич, опять же свой, опять же эрмитажный. Впрочем, выставленные ими работы в этом Ноевом ковчеге сразу и не сыщешь, а посмотреть надо бы, чтобы заготовить для каждого хоть два-три комплиментарных словца.

У передвижников небогато. Козырнули Репиным, но работа не новая — «Бурлаки».

Откуда-то вынырнул Пунин — увернуться от него не удалось.

— Ваш бенефис, Николай Николаевич!.. — Пунин и в самом деле глядел бенефициантом.

Узнав, что Тройницкий еще не успел побывать в Пикетном зале, отданном новейшим течениям, Пунин потащил его за собой.

Шире других представлен Шагал — двадцать четыре вещи: покойники, сидящие на крыше, зажженные свечи с пламенем, раздуваемым в разные стороны, летящий еврей со скрипкой. «Левые» заполнили стены и двух соседних залов. Натан Альтман... Штеренберг... Розанова... У эскизов к «Мистерии-буфф» Тройницкий с деланным ужасом воскликнул: «Свят, свят, свят», а Пунин, подыгрывая ему, трижды перекрестился: им обоим было известно, что в Александринском театре, когда Маяковский читал там «Мистерию-буфф», кто-то из старых актеров непрестанно осенял себя крестным знаменем, приговаривая шепотом: «Свят, свят».

Возле Маяковского и расстались; Пунин углядел в толпе кого-то из своих несметных знакомых, исчез не попрощавшись, и Тройницкий, предоставленный наконец самому себе, побрел разыскивать работы Бенуа, Яремича, Браза. Художники «Мира искусства» разместились воистину по-царски — в Золотой гостиной, в Белом зале.

Публика на выставке необычная. Встречаешь, естественно, и прежних вернисажных завсегдатаев, но сегодня особенно заметно, как поредел старый художественный Петербург. Тройницкий почтительно поклонился Василию Андреевичу Верещагину — служит в Наркомпросе, продовольственная карточка второй категории, а сумел сохранить барскую осанку.

Толчая повсюду, даже в Георгиевском зале, занятом «Общиной художников».

В Аполлоновом зале Тройницкий снова столкнулся с Верещагиным. Верещагин был чем-то рассержен.

— Уже налюбовались? — спросил он Тройницкого, кивнув на распахнутую дверь Романовской галереи. Что именно разгневало Василия Андреевича, стало понятно Тройницкому через несколько минут: в Романовской галерее, на тех же стенах, где еще недавно висели портреты дома Романовых, сотни изображений августейших особ, сейчас были выставлены сюжеты совсем иного рода — «Отречение Николая II», «Долой орла!», «Бой у Зимнего дворца»¹.

У этих картин толпилось больше всего народу.

¹ Автор названных картин — известный художник И. А. Владымиров (1869—1947).

Эрмитажную выставку хотели открыть спустя неделю после «всеобщей», в следующее воскресенье, но не успели и перенесли открытие на вторник.

С каталогом ничего не получилось — в Петросовете, в отделе, ведающем типографиями, засомневались в необходимости подобного издания: не букварь для детишек, нужный сегодня и взрослым, впервые севшим за парту, не сочинения классиков, предназначенные для народа, не политическая литература, освещающая вопросы текущего момента, и вообще — убеждены ли товарищи из музея, что их выставка древностей так уж заинтересует революционные массы трудящихся?

Во вторник, 22 апреля, ровно в полдень, двери выходящего на набережную Советского подъезда открылись для посетителей. Это ли не событие? — после семидесятилетнего перерыва Фельтенов дом, «Старый Эрмитаж», вновь стал вместилищем художественных коллекций. «Выставка очень большая и разнообразная», — отмечается в справке Музейного отдела: в восемнадцати залах представлено старое искусство Италии, Испании, Германии, Фландрии, Голландии, Франции. «Ученый персонал Эрмитажа приложил все старания к тому, чтобы сделать для выставленных предметов искусства наиболее подходящую обстановку. Таким образом, в залах, посвященных итальянской живописи, размещены скульптуры, рисунки, майоликовые изделия и мебель итальянской работы того же времени, что и выставленные там картины; в комнате, посвященной произведениям французского художника XVIII столетия Ватто, выставлены фарфор, миниатюры и табакерки XVIII столетия и т. д.»

Двери Советского подъезда растворены, но народ на выставку не валит: по парадной лестнице, ведущей в залы Седьмой запасной половины, за весь день поднялось человек двадцать или тридцать, всё люди, хорошо известные в музее, преимущественно петербургские коллекционеры, нашедшие применение своему собирательскому опыту в Подотделе по учету, регистрации и охране памятников искусства и старины. Осматривая выставку, они — то один, то другой — подходили к устроителям, к Бенуа, к Тройницкому, благодарили: пожалуй, это одна из наиболее интересных выставок старого искусства за последнее десятилетие; хвалили и прин-

цпы экспозиции, совершенно новые для эрмитажного материала.

Нет сомнения — выставка удалась, но стоило ли огород городить? Если в день открытия пришло от силы тридцать человек, то завтра придет вдвое меньше; уже по первому дню видно, что широкого общественного резонанса ждать нечего, что это — «выставка для себя».

В среду, вопреки вчерашним прогнозам, пришло шестьдесят два человека, в четверг — восемьдесят семь! Кто? По внешнему облику, по непосредственности проявляемого интереса, по наивности задаваемых вопросов, по характеру претензий к администрации («еще светло, а уже звонок на выход»), наконец, по неоднократным просьбам устраивать популярные лекции, подобные тем, что проводятся во Дворце искусств, — по всем этим приметам можно было заключить, что на выставке появилась та «новая публика», которая постоянно бывает и на «народных концертах» в Гербовом зале Зимнего дворца, и на кинематографических сеансах в Николаевском зале. Именно эта категория посетителей эрмитажной выставки возматурала день ото дня.

В журнале заседаний Совета Эрмитажа записано:

«С. Н. Тройницкий сообщает, что во вторник 22 апреля была открыта Первая Эрмитажная выставка художественных произведений; количество посетителей за неделю было 750, причем многие выражали желание, чтобы выставка была открыта до 6 ч. веч.».

По своему обыкновению, к этой деловой информации Тройницкий присовокупил шуточный комментарий:

— Возможно, господа, что успех выставки объясняется причинами не столь эстетического, сколь гастрономического свойства: где же еще, если не у нас — на натюрмортах фламандцев, — найдешь сейчас в Петербурге такую аппетитную снедь, такую натуральную живность?

Никто не улыбнулся, шутка явно «не прошла», и Тройницкий уже серьезно добавил, что для города, население которого убавилось чуть ли не наполовину, семьсот пятьдесят посетителей за неделю совсем неплохо.

Предложение о лекциях не встретило возражений. В газетах объявили: «На 1-й Эрмитажной выставке (вход с набережной, Советский подъезд) по воскресеньям организуется ряд популярных лекций по искусству... Вход свободный». Посетителей стало еще больше.

Статистика посещаемости, полагал Тройницкий, безусловно произведет надлежащий эффект в Отделе печат-

ти, агитации и пропаганды Петросовета, и к концу лета он возобновил хлопоты об издании давно уже подготовленного каталога-путеводителя:

«Это издание имеет целью ознакомить широкие народные массы с хранящимися в Эрмитаже научными и художественными сокровищами, содействуя тем самым делу народного просвещения. Многочисленность посетителей (как экскурсий, так и отдельных лиц) показывает, что выставка вполне отвечает потребностям трудящихся масс...»

Известно, что в библиотеке Владимира Ильича Ленина в Кремле было свыше ста книг, посвященных искусству. Научное описание этой рабочей ленинской библиотеки сделано Книжной палатой, и под № 6501 здесь значится:

«Первая Эрмитажная выставка (Путеводитель). Пб. Госиздат, 1920, 24 стр. 3 л. илл. (Гос. Эрмитаж)».

Во вступительной заметке, предпосланной этому путеводителю, Ленин мог прочесть:

«Настоящая выставка была затеяна ввиду невозможности открыть для обозрения публики главное помещение Эрмитажа, так как все лучшее из его собраний эвакуировано в 1917 г. в Москву. Сложилась выставка из предметов, хранившихся в кладовых и в запасных залах нашего музея, из того, что поступило со времени переворота из царских и великокняжеских дворцов, из того, что приобретено Эрмитажным Советом, и из вещей, переданных в Эрмитаж на хранение.

Выставка устроена в „Седьмой Запасной половине“, иначе говоря, в той части Эрмитажа, которая некогда была отделана с необычайной роскошью для пребывания цесаревича Николая — сына Александра II и которая до последних лет служила для приема и пребывания лиц, гостивших при русском дворе. Ведет к этому помещению грандиозная лестница, построенная в тех же годах и носящая название Советской вследствие того, что в этой части здания до своего переезда в Мариинский дворец помещался Государственный Совет.

Коллекции расположены на выставке по школам и векам»¹.

¹ В рабочей библиотеке В. И. Ленина в Кремле находились и другие издания, выпущенные Государственным Эрмитажем в начальные годы Советской власти: Каталог выставки картин раннего Возрождения в Италии. Вступит. статья А. Бенуа. Пб., 1922; *Вальдгауер О.* Путеводитель по Отделу древностей. Пб., 1922; *Орбели И.* Временная выставка сасанидских древностей. Пб., 1922;

Юсуповский дворец на набережной Мойки был национализирован в феврале 1919 года, и комиссар Ерыкалов, заведующий Подотделом учета, регистрации и охраны памятников искусства и старины, поручил эксперту Верещагину осмотреть дворцовое здание, которое, как указывалось в декрете о национализации, представляет собой «художественно-исторический памятник, заключающий собрание картин и предметов художественного значения». Верещагин обещал завтра же приступить к осмотру; он отправится во дворец с утра пораньше, прямо из дому, благо жительствоует он в двух шагах — на углу Мойки и Фонарного переулка.

У Юсуповых, в их петербургском палаццо, Василий Андреевич бывал многократно; в последний раз, помнится, он провел здесь приятный вечер осенью шестнадцатого года; стареющая, но, как всегда, очаровательная Зинаида Николаевна (встречаясь с княгиней, он неизменно вспоминал ее портреты, писанные Серовым) сама показывала ему только что законченную переустройством в нижнем этаже «половину» ее сына, Феликса Феликсовича младшего, выспрашивала, все ли здесь хорошо, и он восхищался вполне искренне — комнаты отделаны с роскошью, со вкусом и, по чести, являются теперь в России одним из лучших образцов внутреннего декоративного убранства в классическом стиле. Подумаешь — и дрожь пробирает: месяца через два молодой князь зазвал в свои обновленные покои Гришку Распутина, этого омерзительного старца, зазвал и убил. Убийство, не отсрочившее, однако, крушение империи...

Навсегда ли распрощались Юсуповы с наследственными дворцами и поместьями? — молодой Юсупов, женатый на племяннице Николая II, Феликс Феликсович младший, был ведь одним из богатейших людей России, поговаривали, что он богаче самого царя; навсегда ли лишились Юсуповы своих миллионов, своих бесценных коллекций? Княгиня Зинаида Николаевна собиралась обосноваться в Риме; и во сне не приснится княгине, что бывший гофмейстер Верещагин в такую рань, в девять утра, явился, можно сказать, с официальным визитом в ее заколоченный дворец на Мойке!

Тройницкий С. Н. Краткий путеводитель по галерее серебра. Пб., 1922; Временная выставка церковной старины (Путеводитель). Пб., 1922.

Верещагин, конечно, не строил себе иллюзий, что все во дворце так же сияет и сверкает, как два года назад, до обеих революций, но, обойдя дворцовые залы, он убедился, что жизнь дает фору самой изощренной фантазии. — Ужасно! — только и приговаривал он. — Невероятно! — В полдень Василий Андреевич был уже у себя в подотделе с ошеломляющим известием:

— Сокровища Юсуповых таинственным образом исчезли!

Он сообщил Ерыкалову, что застал во дворце лишь пустые рамы на стенах; он доложил, что долго беседовал с управляющим дворцом, точнее — с прежним управляющим, который продолжает жить в боковом корпусе, человеком безупречной репутации, и тот понятия не имеет, куда все девалось — изумительные картины, бронза, музыкальные инструменты старинной работы, — чего только не водилось во дворце князя Юсупова, графа Сумарокова-Эльстона! Невероятно — будто никогда и не было юсуповских собраний, будто никогда и не существовало Юсуповской галереи!

Комиссар Ерыкалов попросил Верещагина составить подробную докладную записку, а сам тут же позвонил в Чрезвычайную комиссию 2-го Городского района.

Допрос бывшего управляющего поначалу ничего не дал — уклончивые ответы, общие слова: сами знаете, дом без хозяина всегда сирота, а квартирантов с отъездом Юсуповых перебивало во дворце более чем достаточно — и германская комиссия по обмену военнопленных, и шведское консульство, и консульство графа Мирбаха, и еще этот немецкий революционный Совет — бог им всем судья! Однако чекисты не сомневались, что лиса-управляющий от них что-то скрывает, и даже догадывались, что именно: готовясь к бегству, Юсуповы, надо полагать, оборудовали у себя во дворце тщательно замаскированный тайник; словом, придется искать...

Людей в ЧК было мало, обратились в райком партии. Поиски тайника во дворце Юсуповых поручили комсомольскому патрулю — оперативные отряды комсомольцев 2-го Городского района не раз выполняли тогда функции разведывательно-сторожевой роты и комендантской команды.

Обыск в Юсуповском дворце длился около пяти суток. Был обнаружен не один тайник, а несколько.

(Интересные подробности, связанные с обнаружением этих тайников, опубликовал ветеран комсомола, член партии с 1919 года,

Павел Иванович Усанов — он возглавлял комсомольский патруль, производивший многодневный обыск во дворце Юсуповых.

От кочегаров дворцовой котельни узнали, что «искать надо там, где изразцы». Изразцами был облицован длинный коридор. «Выстукивание стен коридора ничего не дало.. Из котельной и дворницкой принесли ломы, кувалды и другой инструмент. Наметили три места и одновременно начали ломать стены. Под изразцами оказался толстый слой штукатурки, а за ней — каменная кладка. В двух местах за первым рядом кирпичей пошел второй. Старая кладка поддавалась с трудом...» И вдруг увидели железную дверь. Предоставить ключ от двери управляющий отказался — дверь взломали. Здесь, в этом первом из обнаруженных тайников, были спрятаны золотые и серебряные сервизы, «среди них был и золотой обеденный прибор на 120 человек, состоящий из множества предметов огромной ценности». Во втором тайнике, дверь которого тоже скрывали изразцы и кирпич, находились ящики с фарфором и хрусталем.

«Мы старались найти следующий тайник, — продолжает П. И. Усанов, — но коридор был обшарен и пробит весь. Больше ничего в нем не было. Где же картины? Где же их искать? — не выходило у меня из головы». В конце концов управляющий, убедившись, что дальнейшее упирательство безнадежно, сам вызвался показать, где спрятана коллекция картин Юсупова. «Управляющий привел нас в комнату, из которой шла в верхние этажи металлическая винтовая лестница.. — Здесь!.. — Управляющий пошарил рукой по стене за винтовой лестницей, нажал незаметную кнопку, и обнаружилось небольшое отверстие, открывшее доступ к замку. Вставив ключ и повернув его, управляющий сильно толкнул рукой часть стены, находящуюся за винтовой лестницей, и тяжелая, массивная дверь немного отошла.. Но войти в открытую дверь было нельзя — винтовая лестница полностью загоразживала вход». Однако низ лестницы был собран на болтах, и стоило снять десять нижних ступеней, как открылся свободный подход к двери. «Вошли, осветили. Сначала ничего не поняли. Большое, высокое помещение до самого потолка было перегороджено очень тесно поставленными друг к другу каркасами, на которые в несколько этажей были вдвинуты картины.. В этой большой кладовой находилось более тысячи полотен. Здесь была спрятана огромная картинная галерея, имеющая мировую известность. Это собрание являлось одной из самых замечательных частных сокровищниц искусства в Европе. Главной гордостью Юсуповской галереи были картины французской школы. Здесь были Лебрен, Миньяр, Риго, Буше, Ланкре, Грез, Робер, Буальи, Давид, Фрагонар, Керо. Было много картин мастеров итальянских: Карраччи, Альбани, Гвидо Рени, Лука Джордано, Тенелло и Гварди. Картины Рубенса и Ван-Дейка представляли

фламандскую школу. Но главной драгоценностью этого богатейшего собрания были полотна Рембрандта».

Еще в одном тайнике, четвертом, находилась коллекция старинных музыкальных инструментов (она включала и скрипки работы Страдивари), собрание древних грамот, автографы многих деятелей русской и мировой культуры, рукописи Пушкина.)

О тайниках, раскрытых во дворце Юсуповых, оповестили Отдел имущества Наркомпроса. Телефограмму из ЧК прочел и Верещагин, но, странное дело, ни удовлетворения, ни радости от того, что в конечном счете все нашлось, он не ощутил; напротив, его охватило гложущее чувство недовольства собой, мало сказать недовольства — он испытывал отвращение к самому себе. Что он наделал! Что он наделал! Его несколько не мучила совесть, когда сразу после переворота он, заручившись мандатом большевистского ВРК, обыскивал лавки антиквариев, шарил в чуланах рыночных скупщиков старья, рыскал по петербургским ломбардам; что бы о нем тогда ни говорили друзья и недруги, он продолжал делать свое дело и вернул в Зимний дворец сотни похищенных оттуда предметов искусства; сознание того, что он спасает от гибели и расхищения оставленное без присмотра художественное имущество, помогало ему подавлять брезгливость, когда позже, по роду его новых обязанностей, он бывал вынужден шагать по покинутым квартирам, переступить чужие пороги. С юсуповскими сокровищами ситуация совсем иная: Юсуповы, как оказалось, не бросили, подобно многим, свои коллекции на произвол судьбы, и если бы не паника, которую он поднял, все обошлось бы благополучно, не вмешалась бы ЧК, и тайники, предусмотрительно сооруженные Юсуповыми, уберегли бы упрятанные там богатства. Верещагина не покидало ощущение своего соучастия во всей этой ужасной истории...

...Тайники были раскрыты в двадцатых числах февраля; комиссар Ерыкалов полагал, что эксперт Верещагин без промедления приступит к учету и регистрации найденного имущества. Но день проходил за днем, а Верещагин и его помощники во дворце Юсупова не появлялись.



Почему-то работники Наркомпроса юсуповскими вещами не занимаются, сущее безобразие, и 1 марта

1919 года Алексей Максимович Горький обратился с письмом к Анатолию Васильевичу Луначарскому:

«Уважаемый товарищ.

Довожу до сведения Вашего о следующем: в объявленном собственностью Комиссарната народного просвещения доме Юсупова-Сумарокова-Эльстон открыты замаскированные комнаты, в коих оказалось множество художественно и материально драгоценных вещей.

Мне, как председателю Антикварно-оценочной комиссии, известно, что состоящая при Комиссарнате народного просвещения Комиссия по охране памятников искусства в деле разбора и оценки вещей Юсупова не участвует до настоящего времени, о чем я, как член Совета Эрмитажа, сегодня осведомлен.

Не найдете ли Вы необходимым сообщить Отделу по охране памятников о положении дела и вызвать к оценке вещей Юсупова членов Совета Эрмитажа. Возможно, что драгоценности, имеющие важнейшее художественно-историческое значение, будут направлены в Государственный банк, где их оценят по весу металла и тем понизят стоимость их в тысячу раз».

О положении дел в Юсуповском дворце Горький был информирован администрацией Эрмитажа после того, как вопрос о коллекциях, обнаруженных в тайнике, обсуждался эрмитажным Советом — очень тревожное сообщение сделал тогда Бенуа: лучшие вещи могут и не достаться Эрмитажу. «В национализированном дворце Юсупова, — записано в протоколе заседания 26 февраля, — имеются весьма ценные для Эрмитажа предметы, на которые заявляет претензии московская секция Коллегии <по делам музеев>». Претендовал на юсуповское собрание Музей изящных искусств в Москве, конкурент теперь достаточно серьезный, и тем не менее Бенуа не терял надежды — до сих пор власти всегда шли навстречу Эрмитажу. В протоколе записано: «А. Н. Бенуа ссылается на имеющиеся уже прецеденты передачи в Эрмитаж под разными предложениями предметов из дворцов и из музейного фонда».

Судьба юсуповских вещей дебатировалась в Коллегии долго, более двух месяцев. Одно время, в марте, считалось уже окончательно решенным, что вещи с Мой-

ки будут перевезены на Миллионную,— так и объявил Тройницкий 14 марта хранителям: «Коллегией по делам музеев и охране памятников старины и искусства решено передать все Юсуповское собрание в Эрмитаж, так как дворец Юсупова предположено использовать для культурно-просветительных планов местного Совета». А полтора месяца спустя, 30 апреля, председатель эрмитажного Совета профессор Жебелев вынужден был признать, что еще все висит на волоске:

«Положение Юсуповского собрания чрезвычайно неопределенно. По первоначальному проекту оно должно было перейти в Эрмитаж, затем возникло мнение сделать дворец музеем».

Против ожидания новая идея, возникшая в Музейной коллегии, нашла в Эрмитаже горячих сторонников — очень разумно сохранить для истории Юсуповский дворец как единое целое, превратить его в самостоятельный художественно-исторический памятник; идея, привлекательная во всех отношениях, — если она действительно восторгается, то осуществить ее без участия Эрмитажа будет практически невозможно.

Предписание, полученное Эрмитажем 2 мая, явилось прямым следствием письма А. М. Горького к А. В. Луначарскому. Чего хотел Эрмитаж, того и добился — его представители возглавят работу по разбору и оценке художественного имущества Юсуповых:

«...Правительственный комиссар по делам музеев предлагает Эрмитажу делегировать для выполнения намеченной задачи из своего состава трех или четырех лиц. В помощь им от Отдела по учету даны будут сотрудники».

В Юсуповском дворце приступила к работам группа эрмитажных ученых, пять компетентных специалистов — по картинам, по фарфору, по мебели, по бронзе, по гобеленам. Однако не прошло и двух недель, как все пятеро, разыскав Тройницкого в Эрмитаже, заявили ему, что считают для себя неудобным продолжать занятия на Мойке: как бы Эрмитажу не оказаться в ложном положении — военная обстановка под Петербургом обострилась, все идет к тому, что большевики город оставят, готовится всеобщая эвакуация, Горький уже бежал и, надо думать, Юсуповы вскоре возвратятся в Петербург.

Троицкий отделался ничего не значащими фразами, сказал, что не в его правилах насиловать чью бы то ни было совесть, каждый волен поступать согласно своим убеждениям, по велению собственного сердца. Потом добавил:

— А что касается Горького, то вам наврали — только вчера вечером мы с Бенуа пили чай у него на Кронверкском.

В середине мая Максим Пешков, сын Алексея Максимовича, писал отцу из Москвы:

«...У нас не скрывают положения Питера и не исключают возможности его сдачи на „время“.

Я лично тоже не считаю этого невозможным, и меня страшно волнует твое положение.

Если Питер будет взят, то твое положение будет ужасно. Во-первых, для белых ты не писатель Горький, а Большевик, и они могут расправиться с тобой...»

Письмо это было написано после того, как Максим узнал, что в ночь на 13 мая армия генерала Юденича перешла в наступление и быстро продвигается к Петрограду¹.

Отвечая на заботливое письмо сына, Алексей Максимович писал из Петрограда в Москву:

«...А беспокоишься ты обо мне — напрасно, я думаю, меня, вероятно, не тронут. Уехать же отсюда я — не могу, не должен; подумай, и ты согласишься, что я прав <...>, не могу я бросить здесь людей, которые работают со мной и не имеют той защиты, которую мне лично дает моя репутация и некоторые мои заслуги перед страной.

Наконец, я должен остаться здесь, как дрожжа в опавшем тесте, дабы оно опять взошло. Нет, дорогой

¹ Как известно, план общей эвакуации города был — без ведома и согласия центра — разработан Г. Е. Зиновьевым, который в то время возглавлял Петроградский комитет обороны и оказался всецело во власти панических настроений. В. И. Ленин 13 мая 1919 года направил телеграмму Зиновьеву об отмене Советом Обороны Республики эвакуации Петрограда. «Совет Обороны, — телеграфировал В. И. Ленин, — оставляя пока осадное положение Петрограда, уведомляет, что мероприятия Комитета обороны Петрограда должны проводиться в жизнь с ведома, в соответствующих случаях — с согласия центральной власти» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 50, с. 384). Совет Обороны взял организацию защиты Петрограда под свой непосредственный контроль. В постановлении ЦК РКП(б) от 22 мая 1919 года говорилось: «Советская Россия не может отдать Петроград даже на самое короткое время».

друг, я никуда не поеду отсюда, это нельзя мне. Да я и не хочу. За все, что я когда-либо делал, я готов отвечать пред кем угодно...»

Ответное письмо Горького тоже относится к середине мая 1919 года.

В том же мае, 30-го числа, комиссар Ерыкалов, докладывая о ходе работ в Юсуповском дворце, пожаловался Ятманову, что эрмитажные специалисты последние недели проявляют нерадивость, манкируют занятиями, во дворец и заглядывать совсем перестали. Ятманов тут же передал телефонограмму в Эрмитаж — директору С. Н. Тройницкому:

«На основании заявления комиссара Ерыкалова о небрежном и неаккуратном посещении дома Юсупова командированных Эрмитажем его сотрудников, чем страшно тормозится срочное дело по проверке художественного имущества Юсуповского дворца, прошу принять меры соответствующего воздействия на делегированных Эрмитажем сотрудников с целью восстановления нормального отношения к возложенным на них работам».

Сносить нагоняи от Ятманова Тройницкий не был охоч и раньше, — к черту, к дьяволу! Он даже не стал подыскивать сколько-нибудь убедительные аргументы — из его ответа, направленного в Музейный отдел, выходило, что вовсе не Эрмитаж добивался привлечения своих сотрудников к работам в Юсуповском дворце, что эти работы навязаны ученому персоналу Эрмитажа извне и что признавать их для себя обязательными Эрмитаж не может:

«...Количество времени, уделяемого сотрудниками для Юсуповского дома, находится в зависимости от исполнения ими своих прямых обязанностей по Эрмитажу, ввиду чего предъявлять к ним служебные требования в отношении аккуратного посещения, как и к служащим в Отделе музеев, является совершенно неосновательным. К этому добавлю, что по настоящему предмету мною сообщено комиссару Ерыкалову о том, что если исполнение поручений названными

лицами не удовлетворяет Отдел учета и регистрации, то эти лица могут быть отозваны в Эрмитаж, где личный состав недостаточен и откомандирование их является лишь ущербом для дела».

Дважды, трижды перечел Ятманов это письмо, заново вскипая, все более разъяряясь. Вот и не обострай отношений с администрацией Эрмитажа, вот и проявляй выдержку, терпение и такт. «Махаевщина!» Нет уж — как аукнется, так и откликнется. Он написал:

«Директору Эрмитажа
С. Н. Тройницкому.

Вашим ответом от 30 мая на мою телефонограмму... вы берете на себя не только решение вопроса, что обязаны и чего не обязаны делать сотрудники Эрмитажа в общегосударственной работе, которую ведет Отдел по делам музеев, но даже явно не признаете этой общей работы, демонстративно заявляя, что Эрмитаж не обязан к этому и что сотрудники его имеют свои „прямые обязанности“ и в этом идете даже дальше, угрожая снять командированных Эрмитажем сотрудников со срочной и государственной важности работы, которая ведется в доме Юсупова... Заявлять таким образом в то время, как все мобилизовано, все призвано к объединенной творческой работе, зная в то же время, что благодаря эвакуации Эрмитаж пуст и что его штаты так полны, как не были полны даже тогда, когда Эрмитаж был открыт, значит явно не желать понять и охватить единство и общность всех работ, производимых Музейным отделом в общем плане советского строительства. Поэтому вторично предлагаю вменить в обязанность сотрудникам, командированным в дом Юсупова, срочно произвести возложенную на них работу при самом точном и аккуратном посещении своих занятий, а также принять к руководству, что сотрудники Эрмитажа являются одной частью целого и всецело находятся в распоряжении Отдела по делам музеев и что обязанности сотрудников его определяются не только ме-

стными эрмитажными нуждами, но, главным образом, общегосударственной важности работой, которую ведет Отдел по делам музеев и распоряжения которого являются обязательными как для Эрмитажа, так и для других музеев.

Правительственный комиссар
Г. Ятманов».

Бои на подступах к Петрограду не ослабевали. Набрасывая 10 июня проект постановления ЦК РКП (б) о Петроградском фронте, Ленин предложил:

«1. Признать Питерский фронт первым по важности...»¹.

Военная обстановка под Петроградом стала еще сложнее, когда 13 июня белогвардейцы подняли мятеж на фортах Красная Горка и Серая Лошадь. Артиллерия мятежников стала бить по Кронштадту. («...А у нас стреляют по Кронштадту,— писал Горький сыну.— А Кронштадт стреляет по „Красной Горке“».)

Канонада со стороны залива доносилась и тринадцатого, и четырнадцатого июня, и пятнадцатого. В ночь на шестнадцатое июня мятеж на фортах был подавлен, а еще через несколько дней советские войска перешли в контрнаступление по всему фронту. Ожесточенные бои длились весь июль и почти весь август,— белогвардейские банды были отброшены на территорию буржуазной Эстонии.

В конце июня комиссар Ерыкалов доложил правительственному комиссару Ятманову, что эрмитажные специалисты возобновили занятия во дворце Юсупова. В августе опись художественного имущества была закончена, и 20 сентября Юсуповская галерея на Мойке открылась для публичного обозрения. «Всеми работами по развеске и устройству залов галереи,— сказано в предисловии к альбому картин бывшего юсуповского собрания,— руководил хранитель Картинной галереи Эрмитажа О. Э. Браз, исполнена она техническим персоналом Эрмитажа»².

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 38, с. 402.

² Эрмитажные специалисты (научный и технический персонал) принимали затем непосредственное участие в работах по устройству музейных экспозиций в особняке Шуваловых и в Строгановском дворце, который одно время (1924—1928) являлся филиалом Эрмитажа. Впоследствии, когда существование Юсуповской галереи и Шуваловского особняка в качестве самостоятельных художественных музеев было признано ненелесообразным, наиболее значительные

С того дня как Эдуард Эдуардович Ленц отправил новогоднее поздравление графу Толстому — «Париж, до востребования» — и коротко оповестил Дмитрия Ивановича, чем закончилась многомесячная канитель с выборами новой музейной администрации, он стал бывать в Эрмитаже гораздо реже, спорадически, в зависимости от состояния здоровья, заметно ухудшившегося. Да и нужен ли он теперь Эрмитажу? Ленц убеждал себя, что до последней возможности делал для Эрмитажа все от него зависящее, он внушал себе, что ныне Эрмитаж ему абсолютно безразличен — всякий интерес к Эрмитажу у него начисто пропал, иссяк, испарился. Но никакое самовнушение не действовало, и то, что изо дня в день творилось в музее, выворачивало ему душу. Он молчал, долго молчал, человек он сейчас подначальный, но когда в Фельтенов дом — вслед за картинами из Мраморного дворца — принялись свозить вещи из других дворцов и особняков, он попросил Тройницкого объяснить ему, глупому старику, сохранившему, однако, твердые принципы, что вокруг происходит: *horribile dictu*¹, Эрмитаж потворствует противоправным реквизициям, конфискациям, национализациям!

Тройницкий выслушал Ленца и сентенциозно произнес в ответ:

— Чистоплюем нынче не проживешь.

— Готтентотская мораль!

— Мудрый вы человек, Эдуард Эдуардович, а чего-то не улавливаете. Ну чем мы себя запятнали? Пока что мы чисты, как перси девственницы.

У Тройницкого никогда не поймешь, шутит он или говорит серьезно. Вероятно, шутит: «Владельцы вещей, взятых в Эрмитаж, должны благодарственные молебны заказывать». Нет, Тройницкий говорит серьезно: оказывается, любая вещь, если она не куплена музеем, не благоприобретена, а передана ему в силу не зависящих от владельца обстоятельств, вносится и сейчас не в общий эрмитажный инвентарь, а в особые списки, те самые, что были заведены сразу после переворота, когда

картины и другие произведения искусства перешли в Государственный Эрмитаж и Государственный музей изобразительных искусств (Москва). Часть картин из Строгановского дворца была перевезена в Эрмитаж еще в 1921 и 1923 годах, остальные вещи вошли в основное эрмитажное собрание в 1928—1931 годах.

¹ Страшно сказать (*лат.*).

друзья и знакомые графа Толстого, отбывая из Петрограда, благоразумно сдавали свои собрания на хранение в Эрмитаж — до лучших времен¹.

— Ну как, Эдуард Эдуардович, «готтентотская мораль»?

Ленц вынужден был признать, что его демарш лишен оснований.

На следующий день Ленц снова явился к Тройницкому. — По тому же поводу, что и вчера, — сказал он. От людей, близких к Дмитрию Ивановичу, ему известно, что значительную часть своего имущества — мебель, картины, фарфор — граф, кажется, по совету Гагариных, перевез на окраину, на Калашниковский проспект, в какое-то складское помещение; неровен час — никем не востребованные вещи будут объявлены бесхозными со всеми вытекающими последствиями, а потому не следует ли администрации музея что-то сделать, пока не поздно. Тройницкий обещал предпринять необходимые шаги — под маркой готовящейся выставки Эрмитаж может получить все что угодно. Они составили письмо комиссару Ерыкалову:

«В складе Цетлина, арендованном Глуховым, в кладовых № 8, 38 и 41 (Калашниковский пр., 12—14, Успенский двор) находятся на хранении принадлежащие Д. И. Толстому и Гагариной предметы. Ввиду того интереса, который они представляют с научно-художественной точки зрения, Эрмитаж ходатайствует о передаче их ему для устраиваемой выставки художественных произведений»².

Теперь Ленц приходил в Эрмитаж куда чаще — может быть, оттого, что дни удлинлись и на улице чуть-чуть потеплело, а скорее всего потому, что ослабли внутренние тормоза. Но это был уже не прежний Ленц, без которого граф Толстой не мыслил себе существования Эрмитажа. От участия в общеэрмитажных делах он решительно отстранялся, он многого, увы, действительно не улавливает, как однажды справедливо за-

¹ То же самое происходило и в Москве. По свидетельству старейшего советского музейоведа А. Федорова-Давыдова, в Историческом музее, например, ящики с коллекциями, оставленными здесь разными белоэмигрантами, князь Щербатов прятал в подвальных помещениях вплоть до 1925 года.

² Ходатайство о передаче музею художественного имущества Д. И. Толстого было удовлетворено. В распоряжение Эрмитажа была передана также и квартира, которую занимал Толстой в нижнем этаже Ламотова павильона.

метил ему Сергей Николаевич Тройницкий. Даже на заседаниях эрмитажного Совета он теперь только присутствует — бессловесный фигурант; он не делает попыток, как в былые времена, направлять ход прений в желательное русло, а только рассеянно прислушивается к разноречивым суждениям. Порой высказывания сослуживцев — и старых и новых — ему кажутся несуразной чушью, горячечным бредом, причудливой смесью фантастики и реальности, прихотливой игрой воображения в манере Эрнста Теодора Амадея Гофмана. *Risum teneatis, amici?*¹ Сидит дюжина ученых мужей; это только по календарю весна, а здесь, в музейном зале, адский холод, все в шубах, бекешах (да и он хорош в своем овчинном тулупе), у всех подняты воротники, надвинуты шапки, алеуты сидят, эскимосы, лапландцы, битый час лопочут о снаряжении экспедиции куда-то за экватор, к полунагим перуанцам, — ну, разве не гофманиада?²

В комнаты Седьмой запасной половины, когда там шли приготовления к открытию эрмитажной выставки, Ленц ни разу не поднимался: он все-таки никак не мог примириться с тем, что добрая половина выставочного материала будет экспонироваться без ведома и разрешения законных хозяев. Однако на вернисаж Эдуард Эдуардович пожаловал — закоренелая приверженность ко всему эрмитажному превозмогла предубеждение. Он не позволил себе, подобно другим, пройти на выставку в верхнем платье; пронафталиненную шинель, сменившую наконец его знаменитый тулуп, он оставил внизу, у галерейного служителя, дежурившего в вестибюле, — на парадно освещенной лестнице его увидели в черном визитном костюме, два года пролежавшем в сундуке, после революции надетом сегодня впервые.

Медленным шагом и в намеренном одиночестве обошел Эдуард Эдуардович выставочные залы, и хотя принципы расположения материала (на его взгляд — «учебно-просветительные принципы») и противоречили его представлениям о назначении Эрмитажа, он не смог

¹ Удержите ли смех, друзья? (*Лат.*)

² В протоколе заседания Совета Эрмитажа 9 апреля 1919 года записано:

«С. Н. Тройницкий сообщает, что Комиссия по изучению Южной Америки предполагает снарядить экспедицию в Буэнос-Айрес для изучения древних американских культур и предлагает Эрмитажу принять участие... С. Н. Тройницкий и С. А. Жебелев находят, что единственным заинтересованным в экспедиции отделом является Отдел древностей, куда и должно быть передано предложение».

не отдать должного устроителям. Троицкому он сказал: «По совести, *sine ira et studio*¹, сделано все с большим умом». Неподдалеку, тут же на лестничной площадке, стоял и Бенуа. К Бенуа он не подошел, ограничился церемонным поклоном.

Весенняя травка зазеленела не только на немощеных улицах окраин, но и в центре Петербурга, пробилась между булыжниками мостовых, вылезла из расщелин разбитых тротуаров. «Около Александровской колонны на Дворцовой площади тоже была трава,— вспоминает В. Б. Шкловский.— Приходили люди и пали кроликов, принося их с собой в корзинках. Перед Эрмитажем играли в городки: там была торцовая мостовая. В Летнем саду купались в пруду»².

Захолустный облик приобрела и Воскресенская набережная, где так много зданий бывшего Придворного ведомства и где — под № 22 — высится «дом с квартирами для чинов Министерства Императорского Двора», как в течение долгих лет дом этот значился в справочниках «Весь Петербург». В просторной казенной квартире, некогда предоставленной ему как старшему хранителю Императорского Эрмитажа, Эдуард Эдуардович Ленц проживает теперь не вдвоем с женой, — он не избежал общей участи, его, как и всех, «уплотнили», вселили жильцов по ордерам районного Совдепа. В том же доме живут, тоже в уплотненных квартирах, еще несколько лиц, весьма значительных в недавнем прошлом, высокие чины кабинета его величества, — встречаясь с Ленцем во дворе или на черной лестнице (парадное заколочено), они обязательно заводят с Эдуардом Эдуардовичем политические разговоры, обнадеживают свежей информацией: в городе существует подпольный «Национальный центр», Юденич к лету непременно овладеет Петроградом, в районе Пскова и Гдова успешно действует другой генерал — Булак-Балахович. Ленц тер-

¹ Без гнева и пристрастия (лат.).

² Видный советский писатель Виктор Борисович Шкловский после Октябрьской революции некоторое время принимал участие в работе по охране памятников искусства и старины. Сохранилось официальное письмо наркома А. В. Луначарского в Художественно-историческую комиссию Зимнего дворца о желательности включения в ее состав «в качестве членов, пользующихся особым доверием Правительства, — Г. С. Ятманова и В. Б. Шкловского». Письмо датировано 31 января 1918 года.

пеливо выслушивает соседей — о, fallacem hominum sperit!¹ Что касается его самого, то прошли времена, когда он, возомнив себя великим стратегом, водил пальцем по карте, выбирая наилучшие подходы к столице — сперва для Корнилова, потом для Краснова. К военным событиям под Петроградом Ленц относился теперь до странности безучастно.

Vixi et, quies, dederat cursum fortuna peregrini — я окончил жизнь и совершил путь, предназначенный мне судьбой. Ленц старался по возможности посещать Эрмитаж ежедневно, но в Эрмитаже по-прежнему ни во что не вмешивался. Тем, кто издавна знал Эдуарда Эдуардовича, представлялось, что это не Ленц, а призрак Ленца бродит по музейным залам. Однако в конце мая Ленцу все же пришлось изрядно поволноваться, — случилось нечто такое, что всполошило его, вывело из состояния протрации.

Не то чтобы случившееся было для Ленца полной неожиданностью. Как бы ни отстранялся он от музейных дел, какой бы отрешенной жизнью ни жил, он ни на день, ни на час, ни на минуту не забывал о дамокловом мече, вот уже третий год нависающем над эрмитажными вещами в Москве. Но ко всему привыкаешь, со всем свыкаешься, и когда в конце мая Тройницкий, созвав внеочередное заседание Совета, стал докладывать о поступивших из Москвы неприятных вестях, первое, о чем подумал Эдуард Эдуардович, это о том, что Эрмитажу опять придется доказывать, упрощать, составлять бумаги, входить в сношения с разными музейными отделами и музейными коллегами; он возблагодарил судьбу, избавившую его от обременительных хлопот — не ему вертеться волчком.

Тройницкий говорил нервно. Московские музейщики, говорил Тройницкий, не успокоились, не оставили захватнических намерений, используют критическую ситуацию на Петроградском фронте, — и речь сейчас они ведут уже не только о распаковке эрмитажных ящиков для якобы временной выставки в Москве, теперь уже не обиняками, а открыто требуют они отдать им петроградские ценности. «С. Н. Тройницкий, — записано в протоколе, — сообщает о возобновившихся попытках использовать эрмитажные сокровища в Москве для создания Музея западного искусства».

Чем дольше слушал Эдуард Эдуардович сообщение

¹ О, обманчивая надежда людская! (Лат.)

Тройницкого, тем очевиднее становилось ему, что на сей раз Эрмитажу испугом не отделаться, что эрмитажные вещи для Эрмитажа потеряны, что эрмитажные вещи в Эрмитаж не вернутся.

— Кому угодно взять слово? — спросил Тройницкий. Молчание.

Тройницкий повторил:

— Кому угодно взять слово?

И Эдуарду Эдуардовичу почудилось, что все смотрят на него, ждут, как когда-то, его совета, его инструкций, его распоряжений, но что может он сказать, если он действительно многого не улавливает, и ему только страшно, очень страшно от мысли, что никогда он больше не увидит эрмитажных вещей, среди которых прожил двадцать лучших лет своей жизни. Спазм сжал его горло, он почувствовал, что сейчас разрыдается, и все-таки заставил себя встать. Он откашлялся, и все решили, что их ожидает длинная речь с латинскими прописями, которую хочешь не хочешь, а придется выслушать до конца, но Эдуард Эдуардович, оглядев сослуживцев отуманенными от слез глазами, тихо произнес, обращаясь к Тройницкому, к Жебелеву, к Бенуа:

— На бога и на вас вся моя надежда.



Положение более чем серьезное.

В письме, направленном 27 мая 1919 года в Петроградскую коллегию по делам музеев, Тройницкий писал:

«Получив сведения, что в среде московских музейных деятелей возник вопрос об использовании тяжелых и трудных обстоятельств, в которых находится Эрмитаж, для лишения его принадлежащих ему художественных сокровищ и создания в Москве Музея западного искусства, Совет Эрмитажа единогласно постановил:

Эрмитаж представляет собой живой музей мирового значения, и никакое дробление его в интересах того или иного города не может быть допущено... Все без исключения находящиеся в Москве собрания Эрмитажа должны быть при первой возможности возвращены в Эрмитаж, и лишь после этого может быть поставлен на решение вопрос о том, какие части собрания, как не подходящие к програм-

ме Эрмитажа, могут быть переданы в другие музеи на основании общего плана музейного строительства...».

Положение серьезное. Кто-то из эрмитажных должен срочно ехать в Москву, — Эрмитаж уведомлен, что Московская музейная коллегия выносит на обсуждение всю сумму вопросов, связанных с эрмитажными вещами. Троцкая настаивает, чтобы приехал сам Тройницкий, но у Тройницкого свои соображения: ехать должен человек, способный достойно представить музей и вместе с тем — по занимаемому им служебному положению — неправомочный принимать обязывающие решения. Выбор пал на хранителя Яремича — будет очень полезно, полагал Бенуа, если Степан Петрович, хорошо известный Грабарю, заручится его мощной поддержкой; Тройницкий, в свою очередь, назвал еще и Воинова, ассистента по Отделению гравюр, и старики — Липгарт, Ленц, Марков — поддержали эту кандидатуру: Всеволод Владимирович досконально знает эрмитажные дела. Договорились, что поедут оба.

На вокзале, как всегда, столпотворение. Втиснуться в вагон удалось одному Воинову — так он и доехал до Москвы, стоя в тамбуре, забитом людьми с мешками.

Многостраничный «Отчет ассистента В. В. Воинова о командировке в Москву» дает представление о том, как нелегко было делегату Эрмитажа выполнять возложенное на него поручение. На первом же заседании Московской коллегии по делам музеев Воинов узнал, что Грабаря в Москве нет и что нечего надеяться на скорое его возвращение («отсутствовал Грабарь, уехавший в командировку на Волгу для осмотра помещичьих усадеб и художественных сокровищ»). За разъяснениями пришлось обратиться к Троцкой. «По моей просьбе Н. И. Троцкая ознакомила меня с положением вопроса о судьбе эрмитажных сокровищ в Москве». Ничего отрадного Воинов не услышал. Из московских деятелей в заседании участвовали Эфрос, Муратов, Машковцев и Щекотов. «В развитие данных, сообщенных Н. И. Троцкой, П. П. Муратов отметил три существенных стороны вопроса: 1) контрольное вскрытие ящиков для проверки состояния картин, столь долго находившихся в ящиках... 2) устройство выставки для ознакомления с картинами великих мастеров широких на-

родных масс в Москве и 3) вопрос о распределении эрмитажных картин главным образом между Москвой и Петербургом». Пункт третий, вопреки ожиданиям Воинова, оказался наименее каверзным — москвичи, не вступая в спор, к которому Воинов приготовился, быстро согласились, что распределение картин между старыми и новыми музеями проблема предельно сложная и что вопрос этот требует тщательного, глубокого и длительного изучения в общегосударственном масштабе. Другое дело — выставка; здесь московские музейщики упорствовали, настаивали на своем со всей категоричностью, не отступали ни на йоту. «В настоящее время, — отмечает В. В. Воинов, — особенно остро стоит вопрос об устройстве выставки, с которым теснейшим образом связано контрольное вскрытие ящиков. Что же касается третьей части вопроса (т. е. распределения картин между Москвой и Петроградом), то с этой стороны Совету Эрмитажа нечего опасаться, так как этот вопрос огромного объема и значения не может быть решен отдельно от общего плана музейного строительства страны в общегосударственном масштабе, что представляется сейчас в более или менее отдаленном будущем...»

Желательность, даже необходимость контрольных вскрытий оспорить Воинов не мог — ему, живому свидетелю эвакуационных работ в Эрмитаже осенью семнадцатого года, хорошо запомнилось, как все тогда делалось второпях: нет шурупов — довольствовались гвоздями, войлок был самых низких сортов, будто бы нарочно для разведения моли, — упаковка сомнительная, осуществленная кое-как, на фу-фу... Не мог Воинов оспорить и того, что именно Москва стала ныне центром художественной жизни страны и что выставка эрмитажных картин была бы в Москве огромным событием. Доводы у москвичей весомые, понимал Воинов, но все пересиливали прежние опасения — если эрмитажные вещи будут вынуты из ящиков и выставлены на всеобщее обозрение, в Эрмитаж они уже не вернуться.

Воинов высказал все, что мог сказать против устройства выставки. Его слова не возымели никакого действия.

Он попытался отвести угрозу хотя бы от шедевров, от самого драгоценного; он заявил, что у него полномочия эрмитажного Совета требовать безотлагательного возвращения в Петроград «некоторого количества ящиков с наиболее ценными картинами и древностями Эр-

митажа». Вышла одна неловкость; в отчете Воинова сказано: «Щекотов, ставя устройство выставки на первый план, находит нелепым и немотивированным желание Совета Эрмитажа перевезти ящики с лучшими картинами. Это, во-первых, в корне разбивает идею выставки лучших произведений, а во-вторых, непонятно, почему Эрмитажу понадобилось возвращение картин в настоящий момент, столь трудный для всякого рода перевозок и неопределенный в смысле стратегического положения Петрограда».

Воинова пригласили осмотреть несколько помещений, намеченных для выставки,—отказываться он не стал, почему не пойти, все равно не ему решать... «В воскресенье, 1 июня, я осмотрел филиальное отделение Румянцевского музея (Черногрязская Садовая, у Красных ворот, д. № 6, б. Зубалова)... Это — большой барский дом, во втором этаже которого имеются семь комнат, пригодных для устройства выставки, но отнюдь не эрмитажных картин. Распаковку там производить негде, да и само здание слишком удалено от центра и вряд ли обеспечено в пожарном отношении». Зубаловский особняк отпал. На Волхонку, в Музей изящных искусств, Воинов пошел во вторник вместе с Муратовым и Эфросом. Под эрмитажную выставку намечался здесь большой центральный зал верхнего этажа. «Мною было обращено внимание на то, что довольно много стекол на потолке разбито и не вставлено. Разбиты они, по словам моих спутников, залетевшими пулями». Внимание своих спутников Воинов обратил и на то, что мраморные стены зала не приспособлены для развески картин. «Представители Московской коллегии высказали предложение о возможности устроить выставку на специально поставленных щитах, обтянутых материей». Что подобный проект в принципе осуществим, отрицать было невозможно, но Воинов достаточно долго занимался в Эрмитаже практическими делами, чтобы не знать и другого: щиты враз не изготовишь, работа затянется на все лето, а осенью и тем более зимой выставке воспрепятствуют сырость и холод. «Затем нами было осмотрено отдельное помещение (вход с Антипьевского переулка)... состоящее из 4 или 5 комнат с отдельным входом с улицы. Муратов и Эфрос,—указывает Воинов,—признали это помещение недостаточно парадным и поэтому не подходящим для выставки <картин Эрмитажа>».

...Музейные деятели, с которыми он каждодневно

общается в Москве, и Эфрос, и Муратов, и Щекотов, с упоением толкуют ему, каким громким событием будет задуманная выставка эрмитажных шедевров, прямо-таки каждый заливается соловьем; если даже допустить, что хлопочут они вполне чистосердечно, без задней мысли, все равно непонятно, как могут люди, искушенные в музейном деле, легкомысленно отмахиваться от всех практических вопросов, от подчас непреодолимых трудностей, которые возникли уже сегодня и еще возникнут в дальнейшем. Воинов опять отправился в Музейный отдел. «...Я просил Н. И. Троцкую принять меня с целью получить от нее более или менее определенные ответы на те вопросы практического характера, без ответа на которые считал свою миссию по командировке невыполненной». Ответы Троцкой еще более его насторожили: вопрос о выставке надо считать решенным, для подготовительных работ следует как можно скорее прибыть в Москву эрмитажным хранителям и реставраторам, а не приедут — пусть пеняют на себя. «Н. И. Троцкая сказала, что тогда придется сделать намеченное уже без представителей Эрмитажа». С этим Воинов и приехал в Петроград.

Бить немедленно в набат, бежать на Кронверкский к Горькому, или еще есть время, чтобы выждать и поглядеть, как будут дальше развиваться события? Тройницкий перечел отчет Воинова. Воинову надо отдать должное — свою миссию он выполнил превосходно, единственное упущение — не напомнил московским музейщикам, что разговоры о выставке заводятся ими не впервые и что прошлой зимой эти разговоры прекратились не случайно, а после телеграммы, которую Горький послал Ленину; напомнить было бы полезно — может быть, кое у кого пропала бы охота зариться на эрмитажные вещи. Он подчеркнул карандашом несколько строк в лежащем перед ним отчете: «Помещение окончательно не намечено... Разработку и детализацию данного вопроса постановлено отложить». Иными словами — для эрмитажной выставки ничего в Москве не подготовлено, ничто толком не продумано, следовательно, время есть, тревожить Горького пока нет надобности. Обождем¹.

¹ О конфликтной ситуации, которая сложилась между Эрмитажем и московскими музейными деятелями, Тройницкий 6 июня, после возвращения Воинова из Москвы, оповестил Петроградскую

Прошла неделя, и из Москвы, от друзей, Тройницкий получил приватное письмо, позволявшее сделать вывод, что в тамошних музейных кругах все-таки нашлись трезвые головы. О дошедших до него успокоительных известиях он не замедлил доложить Совету Эрмитажа:

«С. Н. Тройницкий сообщает, что, по частным сведениям, Московская коллегия по делам музеев не решается сама, без участия Эрмитажа, приступить к устройству выставки и вскрытию эрмитажных ящичков, и, таким образом, дело, вероятно, остановится само собой».

Он добавил, что и теперь многое зависит от того, как будет складываться военная обстановка под Петроградом.



Когда Ленц подолгу не появлялся в музее, его обычно навещал Воинов, живший неподалеку, за углом, на Воскресенском проспекте, тоже в доме дворцового ведомства, но для чинов поскромнее. В июне Ленц снова захворал, по-видимому серьезно, врачи уложили его в постель, и Тройницкий попросил Воинова, как только тот вернулся из Москвы, заглянуть к старику — небось волнуется, пребывая в неведении относительно московских дел.

У Эдуарда Эдуардовича явно ухудшился слух — Воинов придвинул кресло поближе к кровати.

Коротким рассказом Ленц не удовлетворился; он требовал подробностей — кто что говорил, кто как держался.

Потом произнес:

коллегию по делам музеев. «Устройство в настоящее время выставки эрмитажных сокровищ, — указывал С. Н. Тройницкий, — является абсолютно невозможным, так как в Москве нет ни подходящего и подготовленного для этой цели помещения, ни технических средств. В частности, Совет Эрмитажа никоим образом не может взять на себя ответственность устройства выставки в чужом городе и при таких условиях». Возражал Тройницкий и против контрольных вскрытий ящичков с эрмитажными коллекциями, но в этом вопросе поддержки не получил. В Эрмитаж поступила выписка из протокола заседания Коллегии:

«§ 4. Заслушав отношение Эрмитажа от 6 июля за № 830, Коллегия постановила: признать устройство выставки в Москве недопустимым; признать желательным производство контрольного вскрытия ящичков (в течение одного месяца), но не иначе, как силами и средствами Эрмитажа...»

Ученый секретарь *И. Орбели*.

— Капкан! Эрмитажные вещи угодили в ловушку, никому их теперь не вызволить...

Через неделю Воинов принес сообщение о весьма успокоительном письме из Москвы, но Ленц не изменил своего мрачного прогноза: «Капкан!» Он взял слово с Воинова, что от него не скроют правду, какой бы горькой она ни оказалась.

Навещая Ленца, сидя в кресле подле его кровати, Воинов, чтобы только не молчать, выкладывал Эдуарду Эдуардовичу вороха городских новостей, начиная, конечно, с эрмитажных: на выставке в Седьмой запасной, несмотря на осадное положение, посетителей становится все больше, в воскресенье насчитали около двухсот человек; заседания Совета Эрмитажа перенесены в Висячий сад — так сказать, на лоно природы, и вчера, когда заседали, была слышна артиллерийская канонада — то ли стреляли форты по Кронштадту, то ли Кронштадт по фортам; около половины служащих музея получили от милиции пропуск для хождения по городу в ночные часы¹.

Воинов никогда толком не знал, занимают ли Ленца его рассказы, — Эдуард Эдуардович слушал, прикрыв глаза тяжелыми веками, ни о чем не переспрашивал и лишь время от времени кивал головой. Он не открыл глаза и только молча кивнул даже тогда, когда Воинов явился с известием, что футурист Пунин освобождается Наркомпросом от комиссарствования в Эрмитаже. Кивок головы — всего лишь! Впрочем, Воинов уже успел убедиться, что новость о Пунине ни у кого в музее не вызывает особой реакции — не печалятся, но никто и не ликует: увлекающийся человек, то туда его занесет, то сюда, но зла от него не видели. Так-то так, однако у Эдуарда Эдуардовича с Пуниным свои счеты, вряд ли забыл Эдуард Эдуардович неприятности, обрушившиеся на него год назад в связи с назначением Пунина комиссаром в Эрмитаж, и то, что сейчас Ленц не выразил никаких эмоций, никакого удовлетворения, показалось Воинову дурным симптомом: старик совсем плох.

¹ В ходатайстве о предоставлении сотрудникам музея ночных пропусков, направленном в июне 1919 года администрацией Эрмитажа в Управление рабоче-крестьянской милиции Петрограда, говорилось: «Переживаемое тревожное время заставляет Эрмитаж усилить постоянные ночные дежурства и охрану сокровищ и налагает на административный и научный персонал сего учреждения обязанности по очереди проверять как охрану, так и ночные дежурства...»

А Ленц вдруг приподнял голову с подушек, сел, окинул Воинова строгим взглядом, попросил притворить поплотнее дверь — надо кое о чем посоветоваться. Болеет он уже три недели, неизвестно, сколько времени врачи еще продержат его в постели, но нет худа без добра — у него созрел план, как вызволить из капкана эрмитажные вещи. Все обдуманно, все взвешено: вступить за Эрмитаж должен король Георг, двоюродный брат покойного императора Николая Александровича; с королем Великобритании войдет в контакт граф Толстой, единственная загвоздка — где и как раздобыть точный адрес его сиятельства, на новогоднюю открытку, посланную в Париж, ответа так и не было; Толстой как-нибудь отыщется — через нейтральные страны, через Женевский Красный Крест. И — в Лондон! Обер-церемониймейстер высочайшего двора и его супруга, фрейлина императрицы, встретят полное понимание в Букингемском дворце. Главное — доставить эрмитажные сокровища в Рыбинск. Оттуда по Марининской водной системе их тайком увезут британские субмарины.

И опять подумалось Воинову: совсем плох старик.

Было это за день до смерти Ленца — умер он 25 июня. Сослуживцы похоронили его на Лютеранском кладбище. За гробом шло не более десяти человек, все пожилые люди. Речей над могилой не говорили.

...Вернувшись домой с похорон, Алексей Константинович Марков достал из шкафа «Указатель» Ленца, фундаментальный труд по эрмитажному собранию оружия. Он перелистал книгу. «В очень многих случаях положительными результатами предлагаемой работы составитель путеводителя обязан товарищам по службе: ближайшему сотруднику, хранителю Средневекового Отделения Я. И. Смирнову, заведывающим Монетным Отделением А. К. Маркову и Галереей Драгоценностей барону А. Е. Фелькерзаму». Уже нет Фелькерзама, год назад потеряли Якова Ивановича, и теперь вот — Эдуард Эдуардович Ленц... Да, мы все умираем от старости, все еще ожидая ее наступления; мир праху опередившего нас.

О заслугах покойного он обещал произнести краткое слово на ближайшем заседании Совета. А ведь, собственно, было два Ленца: заслоняя собою Ленца-ученого, в памяти проступает другой Ленц, жесткий и непреклонный администратор, в Эрмитаже первая фигура после директора, правая рука графа Толстого; было два Ленца, но со временем о Ленце будут судить толь-

ко по оставленным им ученым трудам. Эдуард Эдуардович обожал латынь. *De mortuis aut bene, aut nihil*¹.



Окончательно ли застопорилось дело с выставкой в Москве или эта рискованная для Эрмитажа выставка все же состоится? Тройницкий, когда его допрашивали вопросами, отвечал, что, по его разумению, чем дольше тянется неопределенность, тем лучше; время работает на нас, говорил он, маловероятно, чтобы Рембрандтов и Рубенсов выставили осенью в зале с разбитым потолком.

В августе из Москвы прибыла делегация музейных деятелей — Эфрос и другие. О заседании Петроградской коллегии с участием московских депутатов Совет Эрмитажа был информирован Александром Бенуа:

«Эфрос заявил, что нужно вернуть в Петербург эрмитажные сокровища ввиду того, что для выставки время уже упущено и нет смысла держать их на зиму в Москве».

В осуществимость полной реэвакуации, неожиданно предложенной Эрмитажу, Тройницкий не очень-то верил². А выставке теперь действительно не быть! Время для выставки упущено, это само собой, но у Тройницкого были основания полагать, что обратный ход делу дан еще и по иным причинам: в Москве долго не было Луначарского; более двух месяцев, с мая, он выполнял важные правительственные задания в Ярославской и Костромской губерниях, а вернувшись в столицу, опять вплотную занялся Наркомпросом и развязал немало запутанных узлов.

8

Однажды, в 1912 году, Александр Бенуа на страницах газеты «Речь» высказался пренебрежительно о

¹ О мертвых или хорошо, или ничего (лат.).

² Предложение о реэвакуации эрмитажных вещей, сделанное московскими музейными деятелями в августе 1919 года на заседании Петроградской коллегии по делам музеев, не учитывало реального положения на фронтах гражданской войны. И хотя хранители Эрмитажа и проголосовали 13 августа за это предложение, уже через неделю, 20 августа, С. Н. Тройницкий сообщил Совету музея: «На предыдущем заседании было решено приступить к реэвакуации эрмитажного имущества, но положение на фронте опять изменилось и едва ли возможно будет сейчас чего-нибудь в этом направлении достигнуть».

только что открытом в Москве Музее изящных искусств. Вскоре прибыло письмо Игоря Грабаря — от фельетонов Бенуа в «Речи» он в восторге, он прочел их залпом, прочел «точно книгу». «Серьезно,— писал Грабарь,— я получил впечатление именно книги чертовски занимательной... Я даже не знаю, что у Тебя в этой книге лучше всего. Впрочем, я знаю, что хуже всего: музей Александра III в Москве¹. Я не только чувствую, но просто знаю, что Ты сделал нехорошо, поместив этот выпад... Крылатое словечко „мраморный ящик для гипсовых фигур“, пущенное в свое время, как много других почтенных и острых слов, до того истерлось, что у меня бы не хватило просто храбрости еще раз пускать его в оборот...» Хороший гипсовый слепок с великого произведения, убеждал Грабарь «дорогого Шуру», способен доставить неизмеримо большее эстетическое наслаждение, чем третьестепенный, ремесленного уровня мраморный «оригинал».

О подборке, которой удостоил его Грабарь, Бенуа вспоминал теперь, в девятнадцатом году, со снисходительным смешком: что-то больше не слышно пылких речей Грабаря во славу гипсовых муляжей, собранных на Волхонке; иные времена — иные песни: слепки побоку. Москва жаждет увидеть теперь в музейном зале на Волхонке не гипсовые слепки, а первостатейные произведения мирового искусства. Звучит патетично: художественный музей, равнопрекрасный петербургскому Эрмитажу! Эрмитаж не Эрмитаж, но музей по образцу и подобию Эрмитажа столичная Москва себе создаст, это естественно, это закономерно, радоваться бы этому, только бы и радоваться, да вот беда — эрмитажные вещи в Москве лежат чересчур близко к Волхонке, к «мраморному ящику для гипсовых фигур»...

Без малого два года сокровища Эрмитажа хранятся в Москве, их возвращение в Петроград опять отодвигается на неопределенный срок, но сейчас, когда выставка, пугавшая своими эвентуальными последствиями, окончательно отменена, можно по крайней мере сделать то, что, по понятным соображениям, не было сделано раньше, от чего до сих пор в Эрмитаже так старательно уклонялись. Поглядеть со стороны — невероятно: два

¹ Т. е. Музей изящных искусств.

года только и думали об эвакуированных ценностях, волновались, нервничали, снаряжали тонцов, писали письма, слали телеграммы, и вместе с тем эрмитажные хранители и реставраторы еще ни разу не вскрывали в Москве свои заколоченные ящики, ни разу не убеждались, что с томящимися там взаперти вещами ничего худого не произошло. Давно пора, и в сентябре 1919 года хранитель Картинной галереи Джеймс Альфредович Шмидт был командирован в Москву — ему и лицам, его сопровождавшим, поручалась выборочная проверка эрмитажных коллекций в Большом Кремлевском дворце и в Историческом музее:

«Предлагается Вам произвести контрольное вскрытие одного или нескольких ящиков для обследования состояния эвакуированных вещей... О результатах вскрытия должен быть составлен акт и картины вновь уложены в ящики и запечатаны... В случае обнаружения необходимости в реставрации данный ящик должен быть направлен обратно в Эрмитаж...»¹

Москва после обезлюдевшего Петрограда показалась особенно шумной и оживленной. Два дня провели в Историческом музее, вскрыли несколько ящиков из тех, что были размещены в Зале новгородских древностей. Как гора с плеч: ничего не попорчено, ничто не повреждено. Для входа в Кремль потребовались специальные пропуска — ускорил дело Михаил Степанович Ольминский, член коллегии Отдела имущества Наркомпроса, сразу же покоровивший Шмидта необыкновенным доброжелательством, сердечностью, широким кругом интересов. (Через три недели Шмидт прямо-таки содрогнулся от ужаса, узнав, что этот седовласый партиец, этот обаятельнейший человек чуть не погиб, был ранен, контужен при взрыве бомбы в Леонтьевском переулке.²) Ольминский сказал, что в обусловленное

¹ В группу служащих, командированных 3 сентября 1919 года в Москву, входил и Н. А. Сидоров, реставратор по технической части, достойный представитель династии знаменитых эрмитажных реставраторов Сидоровых.

² Речь идет о террористическом акте, произведенном анархистами и левыми эсерами вечером 25 сентября 1919 года в помещении Московского комитета РКП(б) в Леонтьевском переулке, когда там происходило собрание ответственных партийных работников. При взрыве погибло 12 и было ранено 55 человек. М. С. Ольминский тогда был сильно контужен взрывной волной и засыпан обломками кирпича, штукатурки и потолочных балок.

время он тоже придет в Большой Кремлевский дворец, что его чрезвычайно интересует мнение приехавших товарищей о состоянии петроградских ценностей в Кремле. Он прибавил, что товарищи из Петрограда, вероятно, знают об оплошке, допущенной прошлой осенью, в ноябре, когда петроградские вещи были перенесены из так называемой Собственной половины дворца в «помещение Должностей»; перетаскивали вещи красноармейцы, надлежащим образом не проинструктированные, куда что складывать, а потому все и оказалось сложным сумбурно, бессистемно, Эрмитаж попеременно с Зимним дворцом, Зимний — с дворцами Царского Села...

Свои ящики Шмидт опознал без труда — по шифрам, нанесенным черной краской на дощатые стенки. И вот здесь, в Большом Кремлевском дворце, в «помещении Должностей», Михаил Степанович Ольминский разделил радость эрмитажных хранителей и реставраторов, убедившихся в том, о чем позже, 10 сентября 1919 года, на заседании Совета Эрмитажа будет сделана короткая протокольная запись:

«Вскрытие ящиков обнаружило полную сохранность картин».

Раз уж он очутился в Москве, грех не посмотреть новейшую западноевропейскую живопись в национализированных особняках Щукина и Морозова, грех не побывать и в Румянцевском музее — любопытно, чем пополнилась там Картинная галерея. А перед самым отъездом Шмидт свиделся с Грабарем.

Грабарь был еще полон впечатлений от летней экспедиции по Волге — правительство предоставило специальный пароход, удалось собрать разнообразный историко-художественный материал, кое-что есть для Третьяковки, кое-что для Румянцевского музея; в Румянцевском музее, посетовал Грабарь, Картинная галерея все еще не избавилась от налета провинциализма, и хотя новые поступления значительно улучшили ее состав, первоклассных картин старых мастеров галерея и сейчас явно не хватает — очень трудно, как сам понимает Джемс Альфредович, невозможно, немислимо приблизиться к идеалу столичного собрания без сочувственной помощи преизбыточно богатого Петербурга. Шмидт промолчал, а через минуту-другую принялся рассуждать о том, что в лучших мировых музеях имеются

лакуны, которые вызывают недоумение и досаду; сколько угодно прорех он может назвать и в эрмитажной Картинной галерее; не далее, как вчера, он осматривал Шукинское и Морозовское собрания, удивительные средоточия произведений новейшей живописи, а в Эрмитаже ведь нет ни одного импрессиониста, ни одного неоимпрессиониста, ни Моне, ни Ренуара, ни Дега, ни Матисса, ни Сезанна, ни Ван-Гога, ни Пикассо, и это в первом музее России, где, как сам понимает Игорь Эммануилович, отсутствие образцов новейших западноевропейских школ и направлений совершенно недопустимо. Наступил черед промолчать Грабарю. Затем, уже прощаясь, Грабарь попросил Шмидта передать Александру Николаевичу, что он, как был, так и остается патриотом Эрмитажа, что он, как и прежде, стоит за возвращение в Петроград эрмитажных шедевров, но коль скоро петербуржцы поднимут вопрос о московских Матиссах и Гогенах, москвичи, надо думать, тут же потребуют от Эрмитажа соответственной компенсации, и кто же тогда отважится сказать, что это несправедливо?

Пожелали друг другу здоровья, пожали друг другу руки.

В Петрограде, у себя в музее, Шмидт постарался свой разговор с Грабарем воспроизвести как можно точнее, со всеми оттенками, со всеми дипломатическими нюансами. — Без московских Ренуаров и Сезаннов, — волновался обычно уравновешенный Шмидт, — без импрессионистов и неоимпрессионистов история европейской живописи обрывается на полуслове. — Он сослался на то, что еще прошлой весной, когда в Эрмитаже обсуждались желательные реформы в Картинной галерее, большинство хранителей поддержало выдвинутый им тезис: «Дальнейшее развитие всего Отделения картин настоятельно требует расширения его программы за пределы XVIII века и устройства в нем нового отдела европейской живописи и скульптуры XIX и XX веков». Об этом, по мнению Шмидта, следовало бы напомнить Петроградской музейной коллегии, а при случае сообщить и в Москву, в Наркомпрос, лучше всего Луначарскому.

— Да, да, Луначарскому, — согласился Бенуа. — Очень бы хотелось, чтоб Анатолий Васильевич взял нашу сторону.

На письме, полученном от Луначарского, сверху, над текстом, Ленин сделал пометку:

«В архив, для справок».

Письмо это, хранящееся ныне в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, датировано 27 апреля 1920 года; в этом письме Луначарский кратко знакомит Владимира Ильича с новыми обстоятельствами, непосредственно связанными с перспективой реэвакуации сокровищ Эрмитажа и Русского музея:

«...Так как Петроград возбудил вопрос о разделе имеющихся в Москве значительных художественных сокровищ, характеризующих новейшее искусство (коллекции Щукина, Морозова и других), то в кругах московских художников и московских любителей искусства возникла мысль об удержании для Москвы некоторого количества петроградских картин для более правильного распределения по обеим столицам художественных сокровищ Республики.

Лично я полагаю, что это было бы рационально. Каждый музей, конечно, цепко держится за свои традиции, но с высшей государственной точки зрения эта цепкость ничем не оправдывается. Поэтому я просил бы Совнарком <...> поручить Отделу музеев совместно с Отделом изобразительных искусств и, может быть, представителями Петроградского и Московского профессионального союза работников искусства (Всерабис) выяснить вопрос о возможности оставления некоторых картин старых мастеров в Москве взамен некоторых произведений новых мастеров, которые должны быть отправлены в совершенно бедный такими произведениями Петроград».

...Оставить некоторые картины старых мастеров в Москве, взамен отправить в Петроград некоторые произведения новых мастеров. Сам факт, что по такому вопросу Луначарский обращается к Ленину, свидетельствует о том значении, которое партия и правительство

придавали распределению и перераспределению между музеями страны колоссально возросших художественных богатств советского народа; это была задача государственной важности, и с самого начала Луначарский представлял себе, насколько она сложна, — ее не решить в один присест, административным росчерком пера: неизбежны острые конфликты, перекрестная борьба интересов, накал страстей. *«Каждый музей, конечно, ценко держится за свои традиции, но с высшей государственной точки зрения эта ценность ничем не оправдывается».*

Острых конфликтов окажется предостаточно. К осуществлению государственной задачи «более правильного распределения по обеим столицам художественных сокровищ» петроградские и московские музеи практически приступят уже после того, как эрмитажные вещи в 1920 году вернутся из эвакуации, вернутся целиком и полностью — до последнего ящика, до последнего баула. Но и это не упростит проблемы: ох, нелегко будет хранителям Эрмитажа, большинство которых принадлежало к научной и художественной интеллигенции старой формации, стать выше узко понятых «эрмитажных» интересов, преодолеть в себе то, что сам Бенуа метко назовет «докальным патриотизмом» и «локальным сентиментализмом». Постепенно изменявшуюся психологию эрмитажных деятелей характеризует развернутая записка, которую Александр Бенуа летом 1924 года направил Г. С. Ятманову, по-прежнему ведавшему художественными музеями в Ленинграде. Записка эта посвящена сложившимся к середине двадцатых годов взаимоотношениям Эрмитажа с московскими музеями.

«Многоуважаемый Григорий Степанович, — писал А. Н. Бенуа. — Мне передали Ваше желание, чтобы я представил свои соображения касательно пополнения московских музеев за счет хранящихся в наших собраниях художественных произведений. Сначала, однако, считаю необходимым напомнить Вам об истории этого дела и о нашем внутреннем к нему отношении. Речь идет вовсе не об абсолютном отказе в каких-либо пополнениях музеев столицы за счет наших сокровищ, а о том, чтобы это пополнение сделать по возможности безболезненным для нас... Замкнуться в психологию локального патриотизма мы не способны; мы мыслим более широко и понимаем, что интересы общегосударственного значения должны господствовать над интере-

сами локальными. Москва должна иметь музей, достойный ее, такой музей, в котором и коренное ее население, и непрестанно приливающие массы из провинции могли бы наглядным образом знакомиться с историей мирового искусства. Между тем, при всей значительности Румянцевского музея и нескольких национализированных коллекций (в том числе С. И. и Д. И. Щукиных), Москва не обладает подобным собранием, и все ее художественное достояние испещрено весьма существенными пробелами. Петербург же, в который в течение двух столетий стекались всевозможные произведения искусства, Петербург и до революции был перенасыщен художественными сокровищами, и уже давно речь заходила о том, что следовало бы вместо держания этих сокровищ под спудом или в чрезмерно тесных экспозициях, поделиться ими с Москвой или с некоторыми провинциальными центрами. Революция еще обогатила государственные фонды в очень значительной степени, включив в них наиболее внушительные из частновладельческих коллекций, и, таким образом, в нашем распоряжении оказалось буквально несметное количество художественных предметов, которые — заранее можно сказать — нам никогда не удастся выставить в полном составе, да и польза подобной выставки явилась бы чем-то весьма сомнительным, так как такая выставка превысила бы восприимательные способности даже специально подготовленных людей.

Таково взаимоотношение Москвы и Ленинграда, и это взаимоотношение, повторяю, нас побудило идти на встречу заявкам Москвы...»

Музей изящных искусств на Волхонке переустроен в Государственный музей изобразительных искусств, — Эрмитаж, да и не он один в Ленинграде, к тому времени уже помогал этому создаваемому в столице новому художественному музею. «Несмотря на значительное число передаваемых Москве предметов, — признает А. Н. Бенуа, — Ленинград не может жаловаться, что его обездолили. Все отдаваемое, хотя и принадлежит к высокой, а иногда и к высшей квалификации, может быть передано без существенного ущерба для здешних собраний». Однако распределение художественных ценностей между Ленинградом и Москвой было еще далеко не закончено, и оно, как и ранее, не могло производиться, по выражению Бенуа, «посредством какой-то простой дележки». «Сами москвичи, — пишет А. Н. Бенуа, — с начала переговоров это чувствовали и

неоднократно заявляли, что они сознают значение ленинградских музеев и не намерены нанести им существенный ущерб. Особенно много почтительных слов было произнесено по адресу Эрмитажа, значение которого в их представлении выходит за пределы нашего отечества. Действительно, Эрмитаж является одним из 6—7 музеев, в целости которых заинтересован весь культурный мир, вся наука об искусстве, все художественно мыслящие люди».

...Москвичи полны почтения к Эрмитажу, Бенуа уважительно отзывается о москвичах, и тем не менее переговоры ленинградских и московских музейных деятелей не всегда протекают, говоря дипломатическим языком, в атмосфере добросердечности и взаимного понимания. Да и могло ли быть иначе — даже в пределах одного музея случается, что несколько отделов с равным основанием претендуют для своей экспозиции на один и тот же уникальный памятник. А в данном случае сталкивались интересы двух музеев, двух картинных галерей со сходными художественными и научными программами. Острота дебатов не притуплялась, и Александр Бенуа летом 1924 года в той же записке на имя Ятманова высказывает пожелание, «чтобы этот спор был перенесен из стен самих музеев и всего музейного ведомства на более широкую общественную арену», чтобы к разрешению этого вопроса была привлечена партийная и советская общественность — «политические борцы, которые взвесят вопрос с чисто государственной точки зрения»¹.

В современном каталоге эрмитажной Картинной галереи, во вступительной обзорной статье с предельной лаконичностью сказано:

«Важным моментом в жизни Эрмитажа в период 1923—1930 гг. были его взаимоотношения с московскими музеями. Созданная после Великой Октябрьской социалистической революции картинная галерея ГМИИ²,

¹ В цитируемой записке А. Н. Бенуа говорится и о «встречных требованиях, обращенных к Москве»:

«Особенно важно было бы Эрмитажу получить образцы творчества французских экспрессионистов, неоимпрессионистов, Пикассо и другие явления новейшего западного искусства, которые представлены в московских музеях в большом количестве, тогда как у нас нет ни единого произведения этой категории».

² Государственный музей изобразительных искусств (ныне — имени А. С. Пушкина).

включившая в свой состав наряду с картинной галереей Румянцевского музея произведения западноевропейской живописи Третьяковской галереи и ряда частных московских собраний, настоятельно требовала таких пополнений, которые дали бы возможность поднять ее до уровня столичного музея. Была поставлена задача обогащения ее за счет ленинградских собраний. В ГМИИ было передано в несколько приемов около 460 картин как из основного собрания Эрмитажа, так и из состава новых поступлений, в том числе первоклассные произведения Рембрандта, Рубенса, Ван-Дейка, Иордана, Тициана, Пуссена, Ватто и других мастеров. В те же годы, учитывая потребность Эрмитажа в пополнении вновь сформированного раздела искусства XIX—XX вв. произведениями французской живописи конца XIX—начала XX в., почти полностью отсутствовавшими в ленинградских собраниях, в Эрмитаж был передан из московского Государственного музея нового западного искусства ряд картин К. Моне, К. Писсарро, А. Сислея, П. Гогена, П. Сезанна, А. Матисса, П. Пикассо и др.»¹.

Бесстрастное повествование о делах давно минувших дней. Опущены подробности сложных перипетий, сжато изложен конечный итог, оказавшийся приемлемым для обеих сторон. Рассказывая о «важном моменте в жизни Эрмитажа в период 1923—1930 гг.», автор обзора пользовался, конечно, архивными материалами, но события тех лет в какой-то степени были для него и фактом личной биографии: на службу в Эрмитаж Владимир Францевич Левинсон-Лессинг поступил в те самые годы, когда отношения петроградских и московских музеев были напряжены, когда благополучный финал был еще далек, когда Эрмитаж во всеуслышанье упрекали в «музейном гарпагонстве», «гобсечестве», «плюшкинстве».

Эрмитажный скопидом! «Он все хочет взять для

¹ Несколько раньше, в 1922 году, в Эрмитаж поступило собрание живописи Кушелевской галереи Академии художеств, включавшее полотна Делакруа, Руссо, Тройона, Милле, Коро и других и явившееся первоосновой нового раздела в Картинной галерее — живопись XIX века.

Эрмитажная коллекция произведений новейшей западной живописи значительно пополнилась в 1948 году, когда в связи с закрытием московского Государственного музея нового западного искусства его собрания были распределены между Эрмитажем и Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

своего музея, но ничего дать от своего музея, — писал А. М. Эфрос об особом «петербургском типе музейщика». — В революции он принимает ее собирательную роль, но отвергает ее распределительную инициативу. Он деятельно работает в первой области и тщательно отстраняется от второй».

С Эфросом спорили и тогда: география тут ни при чем, — о *безграничной жадности музейеведов* Луначарский говорил на Первой музейной конференции, обращаясь к петербуржцам и к москвичам.

9

Когда в Малахитовом зале Зимнего дворца в февралю 1919 года проходила Первая музейная конференция, молодой Левинсон-Лессинг еще не числился в списках эрмитажных служащих, он еще служил в учреждении, только косвенно связанном с Эрмитажем, — в Подотделе охраны и регистрации памятников искусства и старины. Впрочем, в канцелярии музея с прошлого ноября лежало его заявление:

«Занимаясь специально историей искусства и стремясь посвятить себя музейной деятельности, покорнейше прошу принять меня в число ассистентов или научных сотрудников Эрмитажа. Я работал главным образом по нидерландской живописи и французской живописи XVIII—XIX вв.; в настоящее время я состою сотрудником комитета по охране и регистрации памятников искусства и старины. Кроме того, я работаю специально по средневековой истории Италии и Франции, по каковой специальности оставлен при Петроградском университете».

Его обнадеживали — после возвращения коллекций из Москвы штаты Картинной галереи обязательно будут расширены, но вещи все не возвращались, и в Малахитовом зале, на музейной конференции, сидел он не рядом с эрмитажными — не с Бенуа, Шмидтом, Тройницким, — а со своим непосредственным начальством — комиссаром Ерыкаловым и экспертом Верещагиным. К Верещагину то и дело подходили, чтобы поздороваться, самые неожиданные люди — академик Ольденбург, профессор Ферсман, только на днях избранный в Академию, художник Нерадовский; подошли и москвичи — Грабарь, Машковцев, Муратов, Эфрос, — каждому из них Василий Андреевич представлял своего молодого

коллегу Владимира Францевича Левинсона-Лессинга, поражавшего всех своей эрудицией еще в университете и делающего сейчас первые успешные шаги на музейном поприще.

В перерыве между заседаниями делегатов и гостей поили ржаным кофе, который в больших медных чайниках приносили из дворцовой кухни. Выпив с Василием Андреевичем по кружке мутноватой жидкости, неожиданно оказавшейся горячей и даже сладкой, и уже возвращаясь в Малахитовый зал, Левинсон-Лессинг обратил внимание на шедшую им навстречу, видимо торопящуюся к тем же медным чайникам пожилую даму, — ее надменный взгляд, походка, вся ее стать никак не вязались с поношенным, неопределенного фасона пальто, с черным головным платком, повязанным наподобие монашеского, со стоптанными мужскими ботинками, зашнурованными белой тесьмой. С этой странной особой Василий Андреевич поздоровался чрезвычайно почтительно, остановился, поцеловал руку, сказал какую-то любезность, задумчиво посмотрел вслед, а когда заметил на лице своего спутника недоуменное выражение, замаялся и с явной неохотой произнес:

— Госпожа Веронелли... художница.

И зачем-то прибавил:

— Я был близко знаком с ее покойным сыном.

«Веронелли, художница, вдова», — значилось в одних документах, в других — «конторщица, девица». Но ни девицей, ни вдовицей баронесса Врангель, конечно, не была, и документы на имя мифической Веронелли ей пришлось раздобыть себе по той же самой причине, которая вынудила ее бросить огромную квартиру на Бассейной и спешно, налегке, перебраться в дальний конец города, в жалкую комнатку под самой крышей. Ее деловитый супруг успел вовремя покинуть Петербург, поручив ей дораспродать картины, коллекционный фарфор, серебро; она завозилась и застряла на несколько лет в ненавистой Совдепии. «Вскоре закрылись границы, — рассказывает баронесса М. Д. Врангель в своих белоэмигрантских мемуарах, — и я осталась в плену». Деньги быстро кончились. «Одна организация предложила мне из каких-то сумм Колчака меня ежемесячно субсидировать; два других больших учреждения в память второго покойного моего сына (историка и критика искусства) также предложили мне свою помощь».

Если бы в Совдепии все сводилось к деньгам! «Так как право на существование в Петербурге имеет только тот, кто служит, на службу бросились все, кого только ноги держат». Устраивались кто как умел. «Я решила поступить на какую-нибудь чистую службу». Эрмитаж слишком на виду, сказал ей граф Толстой, что-нибудь придумаем. «Сперва я работала нештатной служащей в Музее Александра III, но вскоре устроилась на лучшее место в Музее города в Аничковом дворце... Сперва я состояла эмиссаром с жалованием 950 р. в месяц, затем меня превратили в научного сотрудника. Я получала сперва 4000, позже 6 тысяч и, наконец, как хранителю музея, мне было назначено 18 тысяч в месяц».

Не обстоятельства, связанные с крушением старого общественного строя, а совсем иные причины, *жизненное призвание*, осознанное еще в юные годы, побудило Владимира Левинсона-Лессинга, сына известного русского ученого-петрографа, посвятить себя музейной деятельности. Он был оставлен при университете для подготовки к профессуре, но призвание есть призвание, и выдающимся историком искусства, музейным деятелем с мировым именем Левинсон-Лессинг стал здесь, в Эрмитаже, — более пятидесяти лет отдавал он советскому Эрмитажу каждый день своей жизни.

У него была удивительная память, он помнил, кажется, все, что на протяжении полувека случалось в музейном мире.

В 1921 году, когда он наконец-то был зачислен в штаты эрмитажной Картинной галереи, в Москве стал выходить журнал «Среди коллекционеров», тонкие тетрадки, мизерный тираж, издание für wenige — «для немногих». Вот в этом-то журнале, в четвертой по счету тетрадке, напечатанной еще не типографским способом, а на гектографе, Эфрос и выступил со статьей о петербургском и московском собирательстве; немалое место в статье было уделено новому типу музейного работника, сформировавшемуся в пореволюционном Петербурге:

«Революция уничтожила петербуржца, как коллекционера, но сохранила его, как музейного человека. Она переместила его коллекции из дома в государственный музей. Он пришел туда вслед за нею, как своего рода приложение к ней... Он принес в музей и сохранил в нем все свои прежние свойства... Чувство фамильной собственности он ныне распространил на весь музей: Эрмитаж, это его музей, Гатчина, это его дворец...»

Музейная карьера хотя бы той же баронессы Врангель (конечно же, Левинсон-Лессинг вскоре узнал, кто скрывается под именем «госпожи Веронелли») вносила необходимую поправку в набросанный Эфросом обобщенный портрет петербургского коллекционера, недавнего владельца родового собрания, который тихо и мирно «доживает в качестве хранителя, сотрудника или регистратора где-нибудь в морозе зал Эрмитажа, Музея Старого Петербурга, дворцов Павловска или Гатчины, куда приказами Революции попали остатки его коллекций». Не такой уж мирной и тихой, как представлялось Эфросу, была музейная жизнь Петрограда тех лет; вместе с баронессой Врангель под сводами музейных хранилищ искало и находило себе прибежище от революционных штормов достаточное число «бывших людей», может быть, с менее однозными фамилиями; они появлялись то здесь, то там — в Эрмитаже, и в Русском музее, и в Музее Старого Петербурга, суетились, брюзжали, склочничали и внезапно исчезали, как исчезла однажды «госпожа Веронелли» из Музея города в Аничковом дворце¹.

Но была, разумеется, и другая категория старых петербургских собирателей, искренне преданных искусству, оседавших в музее на долгие годы, иногда до конца своих дней, — их знания и опыт всегда высоко ценились советскими музейными органами. Еще в восемнадцатом году, когда вчерашний студент Левинсон-Лессинг лишь начинал свою трудовую жизнь в любопытном ему кругу знатоков старины, в комиссии Верещагина, широко опубликованный циркуляр Наркомата художественно-исторических имуществ особо упоминал любителей-коллекционеров среди разного рода специалистов, коих следует привлекать к охране художественных памятников: «Часто встречающаяся аполитичность и беспартийность этих лиц сможет быть компенсирована как участием революционной демократии Советов, наблюдающей за их работой, так и сильною любовью этих людей к делу, коему многие из них, особенно коллекционеры, посвятили свою жизнь и все средства».

С одним из таких коллекционеров-петербуржцев, ставшим в полном смысле слова музейным человеком, Левинсону-Лессингу довелось служить сперва в Худо-

¹ Баронесса Врангель бежала из Советской России в конце 1920 года после разгрома в Крыму войск генерала П. Н. Врангеля (ее старшего сына).

жественно-исторической комиссии, затем — долгие годы — в Картинной галерее Эрмитажа. В старые времена Федор Федорович Нотгафт был, что называется, богачом, принадлежал; как говорили в Эрмитаже, к «vieux riches¹ довоенного образца», со вкусом и толком коллекционировал картины, рисунки, красивую мебель, фарфор, книги. Он поддерживал многолетнюю дружбу почти со всеми художниками «Мира искусства», и именно Александр Бенуа исколотал ему службу в Эрмитаже².

«Поступив в январе 1919 года в Государственный Эрмитаж на должность помощника хранителя Отделения французского и английского искусства, — вспоминает В. Ф. Левинсон-Лессинг, — Нотгафт, как секретарь Картинной галереи, являлся ближайшим помощником Александра Николаевича Бенуа, руководил работами по инвентаризации, принимал самое активное участие в пополнении галереи, отборе картин в Государственном музейном фонде и загородных дворцах, участвовал в организации ряда выставок, начиная с Первой эрмитажной выставки 1919 года...» Его полюбили, его уважали. «Тонкий знаток искусства и человек большой разносторонней культуры, Ф. Ф. Нотгафт был замечательным собеседником. Его суждения и оценки художественных произведений отличались меткостью и независимостью. У него всегда можно было получить ту или иную необходимую справку, совет или указание...»³

Служили теперь в Эрмитаже еще несколько человек, в прошлом — завзятые коллекционеры, чьи имена были известны Левинсону-Лессингу со студенческих времен по журнальной и газетной хронике о сенсационных приобретениях на художественных аукционах. А имя одного петербургского коллекционера, сразу же занявшего в музее видное положение, Владимир Франце-

¹ Старым богатеям (франц.).

² «Горячо рекомендую включить Федора Федоровича Нотгафта в число деятелей Эрмитажа, — писал А. Н. Бенуа, — я могу указать на то, что Федор Федорович является собой редкий пример совершенно бескорыстного служения искусству и самого вдумчивого его изучения».

³ Скопчался Ф. Ф. Нотгафт в блокадном Ленинграде в 1942 году, завещав музею собранную им коллекцию. Спустя двадцать лет в связи с выставкой этой коллекции в залах Эрмитажа В. Ф. Левинсон-Лессинг писал:

«Имя Ф. Ф. Нотгафта знакомо сейчас лишь ограниченному кругу художников и искусствоведов преимущественно старшего поколения. Оно заслуживает, однако, значительно более широкой известности и благодарной памяти всех любителей искусства».

вич знал с детства, с первого же урока географии, когда на классную доску навесили карту обоих полушарий,— в нижнем углу всех географических карт, которые перевидал с тех пор гимназист Левинсон-Лессинг, мелкими буквами неизменно было напечатано: «Картографическое заведение А. Ильина».

Летом 1942 года в осажденном Ленинграде поэтессу Веру Инбер, автора «Пулковского меридиана», познакомили с ветераном советского Эрмитажа восьмидесятипятилетним Алексеем Алексеевичем Ильиным. Вере Инбер было известно, что Ильин не только крупнейший ученый-нумизмат, член-корреспондент Академии наук СССР, но и старый картограф, в частности — составитель и издатель школьных географических карт и атласов, по которым учились гимназисты и гимназистки всей России. «Войдя в его маленькую комнату в нижнем этаже Эрмитажа с окнами на Зимнюю канавку,— записывает Вера Инбер в свой блокадный дневник 4 июня 1942 года,— я ощутила странную робость. Мне почудилось, что я снова школьница, что меня сейчас вызовут к немой карте и предложат перечислить притоки Волги... Впрочем, специальность Ильина не реки, а горы. Оказывается, горы на карте — наиболее ответственное и трудное».

Подробная справка о картографическом заведении А. Ильина дана в первом издании Большой Советской Энциклопедии: «...первое по времени основания и самое крупное картографическое издательство в дореволюционной России...»¹. Дореволюционные словари и справочники, тоже содержащие сведения о картографе А. А. Ильине, всегда упоминают и другие его занятия, должности, чины: гофмейстер, член Государственного совета — по выбору от дворянских обществ, председатель Российского общества Красного Креста, член совета Государственного банка — по выбору от дворянства, гласный уездного Новоладожского и Санкт-Петербургского земств и пр., и т. д., и т. п. Обо всем этом почел себя обязанным рассказать и сам Ильин в автобиографии, написанной в начале двадцатых годов, когда он, человек весьма почтенного возраста (ему давно перевалило за шестьдесят), — отнюдь не случайно, отнюдь не неожиданно — был избран заместителем директора Государственного Эрмитажа.

¹ А. А. Ильин расширил и превратил в крупную издательскую фирму картографическое заведение, основанное его отцом в 1859 году.

Чем бы ни занимался Алексей Алексеевич до революции, что бы ни делал — картографии он никогда не изменял. В молодости, окончив такое привилегированное учебное заведение, как Александровский лицей, Ильин пренебрег ожидавшей его чиновно-бюрократической карьерой и, как он пишет, «дома под непосредственным руководством отца начал работать по составлению географических и статистических карт...». Было, однако, у Ильина смолоду и другое увлечение, столь же близкое, столь же любезное его сердцу. «Еще в Лицее я пристрастился к собиранию русских монет, а затем, уже значительно позже, с конца 80-х гг., занялся их изучением, как исторических памятников».

Без тени сожаления о прошлом, с поразительной легкостью отказался Ильин от своих капиталов, от всего, что его связывало с потерпевшими крушение институтами старой России. В разделе автобиографии, озаглавленном «Работа после революции», он рассказывает:

«По национализации Картографического заведения „А. Ильин“ с переименованием его в Государственную картографию я продолжал работать там же как картограф-специалист¹. При образовании Российской академии истории материальной культуры был приглашен ученым сотрудником для организации секции нумизматики и глиптики, председателем коей состою и теперь. В Государственном Эрмитаже я был избран членом Совета...»

Его избрали членом Совета Эрмитажа, хранителем Отдела нумизматики и — через год — заместителем директора музея. «Собственная большая коллекция русских монет, — свидетельствует доктор исторических наук И. Г. Спасский, — с этого времени утратила для него интерес и им самим была обращена на пополнение эрмитажного собрания».

В Эрмитаже, в Отделе нумизматики, он появился в начале того знаменательного периода, когда к эрмитажным нумизматическим собраниям, признававшимся и раньше одними из самых значительных в мире, при-

¹ Карты и атласы, издаваемые А. Ильиным, знал и ценил В. И. Ленин. Картографическое заведение Ильина упоминается в ряде ленинских документов. Так, в письме, адресованном Петроградскому Совету 10 августа 1920 года, В. И. Ленин писал:

«Прошу издать атлас, *подобный* книге „Железные дороги России“ (издание картографического заведения А. Ильина. Петроград, 1 сентября 1918 года)...» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 51, с. 253).

соединялось множество других ценнейших коллекций, государственных и общественных (Академии наук, Азиатского музея, Петроградского университета и его восточного факультета, Академии художеств, Археологического общества и др.), когда в Нумизматический отдел Эрмитажа влились и коллекции из бывших императорских дворцов, и национализированные собрания, принадлежавшие прежде Строгановым, Шуваловым, Бобринским, Юсуповым... Этот приток нового материала, продолжавшийся до середины тридцатых годов, привел к тому, что старая эрмитажная коллекция, чья полутора-вековая история восходила еще к екатерининскому Минцкабинету, составляла теперь лишь меньшую часть вновь сложившегося гигантского собрания. Сотни и сотни тысяч монет, медалей, орденов, печатей предстояло систематизировать и каталогизировать¹. «К 1941 году,—отмечалось в дни 200-летнего юбилея Государственного Эрмитажа,—научным коллективом Отдела, возглавлявшимся крупными учеными А. А. Ильиным (1858—1942), Н. П. Бауером (1888—1942), А. Н. Зографом (1889—1942), было составлено около двухсот томов нового каталога». Это был поистине научный подвиг!

...Летом 1942 года Вера Инбер, навестив в блокадном Эрмитаже Алексея Алексеевича Ильина, осведомилась у него, где находятся сейчас нумизматические коллекции музея. Ильин ответил, что их вывезли из Ленинграда, как только городу стала угрожать опасность от бомб.

— Почему же вы сами остались? — спросила Вера Инбер.

Он улыбнулся — ему много раз предлагали уехать.

— Мне далеко за восемьдесят, — сказал он, — я стар. А мои коллекции вечно молоды. В первую очередь надо было думать о них.

Умер Алексей Алексеевич 7 июня 1942 года за своим рабочим столом в Эрмитаже, в маленькой комнатке с окнами на Зимнюю канавку.



Две главенствующие темы всегда переплетались в воспоминаниях Левинсона-Лессинга, посвященных на-

¹ В 1917 году систематическая часть нумизматической коллекции достигала 250 тысяч экземпляров. В течение одного только последующего десятилетия она почти удвоилась, а ныне насчитывает более 1 000 000 единиц хранения.

чальной поре истории советского Эрмитажа: интенсивное поступление в музей новых художественных памятников, которое приобрело масштабы, доселе в мире невиданные, и одновременно — расширение и обновление научного персонала музея, также длительный процесс, который не ограничивался, разумеется, приобщением к хранительской деятельности тех или иных лиц, в прошлом присяжных коллекционеров, а — под властным воздействием духа времени — вовлекал в музейную работу представителей совершенно других общественных кругов: среди эрмитажных хранителей, ассистентов, научных сотрудников появились новые для музея люди, которые совсем недавно о службе в Эрмитаже и мечтать не могли.

Не случалось прежде в Эрмитаже, чтобы хранительскую должность здесь занял человек пусть и высокообразованный, высокоталантливый, но недостаточно «благородного происхождения». Даже знаменитый эрмитажный ученый Владимир Семенович Голенищев, египтолог, которого знал весь мир, но в формуляре которого значилось «купеческий сын», даже он, прослужив в музее почти сорок лет, так и не был удостоен «высочайшего соизволения» на занятие классной должности и четыре десятилетия числился «сверх штата», «исполняющим обязанности». Цепкость традиций, — спустя год после Октябрьской революции, когда в Эрмитаже впервые проходили выборы хранительского состава, старый Ленц был донельзя шокирован, услышав, что художник, баллотирующийся по Отделению гравюр, происходит из крестьян, из «простых мужиков», или, как сам говорил о себе Степан Петрович Яремич, из «незаможного селянства».

«Родившись 3 августа 1869 года в крестьянской семье, в селе Галайках Киевской губернии, — пишет В. Ф. Левинсон-Лессинг, — Яремич с ранних лет начал самостоятельную жизнь. Тяжелые материальные условия заставили его покинуть семью и перебраться в Киев, куда его тянуло вместе с тем страстное желание учиться живописи». Рисовальная школа Мурашко. Знакомство и долголетнее общение с Михаилом Александровичем Врубелем, с Николаем Николаевичем Ге. Потом переезд в Петербург — уже сложившимся художником-пейзажистом. Дружба с Александром Бенуа и Константином Сомовым. Сотрудничество в журналах «Киевская старина», «Мир искусства», «Художественные сокровища России». Затем несколько лет жизни в Париже —

там он становится выдающимся знатоком старого искусства. «Погрузившись в изучение художественных сокровищ Парижа и с необычайным упорством разыскивая у бесчисленных парижских антикваров рисунки старых мастеров, Яремич кладет основу тому замечательному собранию, составленному им на чрезвычайно скромные средства, большое число листов из состава которого украшает в настоящее время коллекцию Эрмитажа».

В послереволюционном Эрмитаже и развернулась по-настоящему деятельность Степана Петровича (одновременно он принимал участие в работах и Русского музея, и Государственного музейного фонда). «Через руки Яремича,— вспоминает В. Ф. Левинсон-Лессинг,— прошло огромное количество картин, в частности все новые поступления Эрмитажа... Бесчисленный ряд данных им новых, порою очень неожиданных атрибуций так скоро и прочно получал общее признание, что многие из них вскоре обезличивались и становились общим достоянием»¹.

Словом, Яремич в Эрмитаже пришелся ко двору. *Self-made man*,— с похвалой отзывался о нем Э. К. Липгарт. — Сам себя сделал человек.

Не совсем обычной была и биография Георгия Семеновича Верейского, тоже эрмитажника с 1918 года, в будущем — народного художника республики и действительного члена Академии художеств СССР.

Впервые он приехал в Петербург девятнадцатилетним юношей, приехал из Харькова, где учился в местной художественной студии, ненадолго приехал, всего на неделю, и с единственной целью — побывать в Эрмитаже и в Русском музее. Было это в январе, и притом в январе пятого года; на Миллионную, в Эрмитаж, к портнику с атлантами, Верейский направился утром

¹ С. П. Яремич (1869—1939) в последние годы своей жизни уделял много внимания реставрации живописи. Эрмитажские реставраторы всегда славились на всю Россию, но Яремич, как отмечает В. Ф. Левинсон-Лессинг, сумел привить реставрационной мастерской «настоящую художественную культуру и заставил преодолеть ряд старых навыков — в частности, вывел из употребления столь широко практиковавшийся ранее перевод живописи на новый холст — и, являясь убежденным сторонником возможно меньшего вмешательства реставратора в жизнь картины, неуклонно добивался замены радикальных способов реставрации наиболее безболезненными методами укрепления и консервации живописи».

воскресного дня, который войдет в историю России под именем Кровавого воскресенья. Утром 9 января 1905 года он стал свидетелем массового расстрела петербургских рабочих, шедших к Зимнему дворцу.

Политикой он до того никогда не интересовался, но теперь, вернувшись из Петербурга в Харьков, забросил карандаши и кисти, прикнул к группе таких же молодых людей, готовых идти с красным знаменем на революционные баррикады. Попытка вооруженного выступления — Верейский арестован, его дело передают в военно-окружной суд, но людям, сочувствующим революции, удается взять его на поруки и переправить за границу.

Годы в эмиграции, и опять он в России — Петербургский университет, участие в столичных художественных выставках, работа в журналах. Мировая война — служба в армии. И снова Петербург — Красный Петроград, Петроград восемнадцатого года.

В ноябре 1918 года, когда Бенуа уже заведовал Отделом Картинной галереи, Верейский получил от него предложение баллотироваться на должность ассистента по Отделению гравюр.

— Будучи человеком сравнительно очень молодым, — представил Бенуа своего протеже эрмитажному Совету, — он особенно может оказаться нужным и полезным нашему музею. Рекомендация, требуемая процедурой, написана мною, и к ней присоединил свою подпись присутствующий здесь Степан Петрович Яремич. Позвольте зачитать...

«Георгий Семенович Верейский по профессии художник. Но, разумеется, нашей рекомендацией на видную должность движет не столько уважение к его выдающемуся дарованию, сколько знакомство с его отношением к прошлому и современному искусству, изучению которого он посвящает все свои досуги и которое он знает, как редко кто из его собратьев. Особенно приковывает внимание Верейского все родственное ему по духу собственного творчества, а именно широкая область так называемых графических искусств... Главным же образом мы можем рекомендовать Совету строгость отношения Г. Верейского ко всякой задаче, которую он себе ставит, его, если можно так выразиться, энтузиазм к работе, к труду и, наконец, его интенсивную культурность. При таких качествах не может оставаться сомнений в том, что в лице Георгия Семеновича мы приобретем отличного сотрудника, что семья эрмитажных

деятели найдет в нем превосходного товарища, что Георгий Семенович на вверенном ему посту сумеет оказать большую пользу как науке, так и обществу...»

...Ассистент, помощник хранителя, наконец, хранитель и заведующий Отделом гравюр — двенадцать лет проработал Верейский в Эрмитаже и действительно принес музею неocenимую пользу. С превеликим сожалением он вынужден был отказаться от должности музейного хранителя — эрмитажная служба отнимала у него почти все светлое время дня, и Верейский-музейщик очень уж мешал Верейскому-художнику. Он оставил эрмитажную службу в 1930 году, но, кажется, не было дня, когда бы его не видели в Эрмитаже — и в предвоенные годы, и в годы блокады, и долго-долго после войны; хранители Эрмитажа, как и прежде, считали его своим коллегой, да и он, как и прежде, считал себя эрмитажником — эрмитажником с восемнадцатого года.

Сравнительно молодым человеком (во всяком случае — по эрмитажным понятиям) пришел в Кабинет гравюр и Михаил Васильевич Доброклонский — ему, как и Верейскому, в 1918 году исполнилось тридцать два. Но Верейский был издавна связан и с Бенуа и с Яремичем, а Доброклонского в Эрмитаже никто не знал — ни старые хранители, ни новые, хотя его увлечение искусством уже утрачивало дилетантский и приобретало профессиональный характер.

Со временем имя Доброклонского, как и имена других ветеранов советского Эрмитажа, получит широкую известность — первейший знаток рисунка западноевропейских мастеров, главный хранитель музея в период ленинградской блокады, член-корреспондент Академии наук СССР; сорокалетие его научной деятельности Эрмитаж будет торжественно отмечать, и Левинсон-Лессинг, старый друг Михаила Васильевича, поднявшись на кафедру, негромко произнесет, казалось бы, самые обыденные слова, которые, однако, вызовут овации в честь юбиляра:

— Михаил Васильевич начал свою работу в Эрмитаже в феврале девятнадцатого года...

Дата, названная Левинсоном-Лессингом, — девятнадцатый год, февраль — фигурирует в послужном списке Доброклонского, в его трудовой книжке, в учетных карточках отдела кадров; именно тогда, в феврале

1919 года, Доброклонский был зачислен в штат Эрмитажа на неприметную должность инвентарщика. И все же эрмитажную биографию члена-корреспондента Академии наук СССР Михаила Васильевича Доброклонского можно начать несколько раньше, с августа 1918 года, когда им было снесено в Эрмитаж нижеследующее прошение:

«Имею честь ходатайствовать о допущении, для испытания, к занятиям в Отделении гравюр и рисунков Эрмитажа...»

Скорее всего, Доброклонскому отказали бы наотрез — какие там еще испытания, коль штаты и без того заполнены, но Тройницкий, прознав, что проситель, подобно ему, воспитанник Училища правоведения, по добрел, заступился, шутливо сослался на исторические примеры: ладно, из скромности он не станет говорить о себе, но некто Стасов, Владимир Васильевич, окончив Правоведение, усердно посещал Эрмитаж, изучал гравюры и рисунки в кабинете знаменитого Уткина, и, представьте, не без проку... Так дело и сладилось — никто не был против: пусть правовед занимается в Отделении гравюр и рисунков, но занятия его ни в коем случае испытанием не считать, письменно предупредив, что Эрмитаж перед ним никаких обязательств не несет. В протокол заседания Совета вписали:

«Допустить г. Доброклонского к частным занятиям в Отделении...»

На прошение, поданном Доброклонским, сделали две пометки:

«Сообщено Доброклонскому письмом 11.IX 1918».

«Выдан входной билет — 13.IX 1918».

Через несколько месяцев Доброклонский был зачислен инвентарщиком, а еще через полгода из инвентарщиков переведен в научные сотрудники.

«По своему образованию,— говорил В. Ф. Левинсон-Лессинг сорок лет спустя,— Михаил Васильевич не был историком искусства; получив юридическую подготовку, он начал свою жизненную карьеру в качестве юриста. Я склонен думать, что строгая юридическая школа сыграла несомненную роль в выработке той строгой дисциплины мысли, точности и осторожности выводов, которые отличают Михаила Васильевича. С молодых лет Михаил Васильевич... сумел приобрести широкое и основательное знакомство с многообразными художественными памятниками, однако специалистом Михаил Васильевич стал только в стенах Эрмитажа».

Две темы переплетались в рассказах Левинсона-Лессинга о начальной поре истории советского Эрмитажа: расширение и обновление состава научных сотрудников музея и — одновременно — стремительное преумножение художественных коллекций. «Годы, когда Михаил Васильевич начал работать в Эрмитаже, — вспоминает В. Ф. Левинсон-Лессинг, — были годами бурного роста эрмитажных собраний, в частности и коллекции рисунков. Следует напомнить, что Отделение рисунков, в некоторых отношениях, занимало особое положение: не было, пожалуй, ни одного подразделения дореволюционного Эрмитажа, которое находилось бы в таком запущенном состоянии, в смысле систематизации и изучения материала, резко отличаясь в этом отношении от Картинной галереи... Поэтому задача нового Отделения заключалась прежде всего в критическом пересмотре и систематизации основного собрания, наряду с его пополнением за счет новых поступлений. На долю Михаила Васильевича выпала счастливая судьба, он не только участвовал в этой работе с самого начала, но и вел ее в тесном общении с такими знатоками рисунка, как Александр Николаевич Бенуа и Степан Петрович Яремич. Вспоминается, как в помещении Отделения античного мира, где тогда помещалось Отделение рисунков, собирались за большим столом сотрудники — Георгий Семенович Верейский был неизменным участником этих встреч — и совместно просматривали папки и альбомы с рисунками и гравюрами: сколько было при этом живого и интересного обмена мнений! Эти счастливые обстоятельства, при которых началась работа Михаила Васильевича, были полностью им использованы, и он вскоре же выдвинулся в качестве основного, наиболее активного работника Отделения».



В том же восемнадцатом году, в том же сентябре, когда будущего члена-корреспондента Академии наук Михаила Васильевича Доброклонского с такой осмотрительной осторожностью допустили к частным занятиям в Отделении гравюр и рисунков, профессор Вальдгауер направил в Совет Эрмитажа рапорт:

«Имею честь довести до сведения Совета, что в настоящее время при Отделении древностей занимаются следующие посторонние лица...»

Среди посторонних лиц, занимающихся при Отделении древностей, названы две девушки, Прушевская

и Тревер, скромные регистраторы научных коллекций в Археологической комиссии. «Г-жа Тревер,—указано в рапорте,—издает некоторые краснофигурные вазы строгого стиля, г-жа Прушевская—бронзовую этрусскую статуэтку».

Обе ученые девушки, упомянутые Вальдгауером, очень скоро перешли на службу в Эрмитаж—Евгения Прушевская несколько позже, а Камилла Тревер уже в феврале 1919 года.

Ее сверстники и ее сверстницы начинали в Эрмитаже кто с инвентарщика, кто с научного сотрудника, если повезет—ассистентом, она же сразу заняла должность помощника хранителя—по Отделению археологии России. Не без колебаний утвердил эрмитажный Совет эту кандидатуру, выдвинутую Совещанием при Отделе древностей; высказывали сомнения: может быть, рановато поручать госпоже Тревер подобную, почти хранительскую должность, однако Вальдгауер заверил, что Камилла Васильевна, по его убеждению, обладает должной научной подготовкой, что, работая в Археологической комиссии, она получила технические навыки, необходимые в музейном деле, и что напечатанные ею статьи свидетельствуют об отличных познаниях в области скульптуры и вазовой живописи, и об умении разбирать сложные научные проблемы.

— К этому добавлю,—сказал Вальдгауер,—что Борис Владимирович Фармаковский дал весьма положительный отзыв об эрудиции и способностях Камиллы Васильевны¹.

Эрмитажным хранителем в 1919 году профессор Фармаковский еще не был (он станет им только через год), но, поднимаясь к себе в Археологическую комиссию, на третий этаж Фельтенова дома, он каждодневно заглядывал в Эрмитаж—когда по объявившимся вдруг делам, когда по стародавней привычке: сюда, в Эрмитаж, неизменно поступали самые драгоценные вещи из древней Ольвии, которую он раскапывал с давних пор, с конца прошлого века.

В Эрмитаже все были ему знакомы, и он был всем знаком. Он-то и предложил Совещанию при Отделе древностей выдвинуть Камиллу Тревер на должность помощника хранителя; предвидя, что молодость кан-

¹ Б. В. Фармаковский (1870—1928)—видный археолог и историк античного искусства. С 1914 года—член-корреспондент Академии наук.

дидатки может смутить членов эрмитажного Совета, Фармаковский просил в случае надобности упомянуть, что о Камилле Васильевне он самого лучшего мнения, что знает ее много лет, еще курсисткой-бестужевкой:

— Пожалуйста, Оскар Фердинандович, передайте Совету, что на Бестужевских курсах Камилла Тревер принадлежала к моим лучшим ученицам¹.

...Годы, судьбы. Пути и перепутья. Минуло четверть века, и в 1943 году — в один день с М. В. Доброклонским — профессор Государственного Эрмитажа, талантливый исследователь истории культур Средней Азии, Закавказья и Ирана Камилла Васильевна Тревер была избрана членом-корреспондентом Академии наук СССР.

Многие бестужевки, как известно из материалов по истории высшего женского образования в России, впоследствии — после Великой Октябрьской социалистической революции — заняли заметное место в рядах деятелей советской науки: есть бестужевка-академик², че-

¹ Из эрмитажных деятелей не одна К. В. Тревер прошла первую школу научно-исследовательской работы под руководством Б. В. Фармаковского. «Руководя семинарскими и просеминарскими занятиями, Б. В. Фармаковский привлекал слушателей к исследовательской работе и включал их в ежегодные археологические экспедиции в Причерноморье, — вспоминает профессор Ж. А. Мацулевич, тоже бестужевка, тоже ветеран советского Эрмитажа. — Таким путем он открывал перед нами возможность строить свои доклады на самостоятельном изучении памятников, притом еще никем не определенных, только что добытых при раскопках... Из семинариев Фармаковского вышло много серьезных советских ученых, исследователей искусства и археологов...» Наряду с К. В. Тревер мемуаристка вспоминает Е. О. Прушевскую, Е. В. Эренштедт, О. В. Лаврову — научных сотрудников Эрмитажа с 1919—1920 годов. «Доклады их, написанные еще во время пребывания на ВЖК, были настолько ценными в научном отношении, что, например, семинарская работа К. В. Тревер «Мраморные скульптуры из Ольвии» была тогда же напечатана в 54-м выпуске „Известий Археологической комиссии“».

Помимо Б. В. Фармаковского на Высших женских (Бестужевских) курсах преподавали и другие видные археологи и историки искусства, так или иначе связанные с Эрмитажем: в разные годы в аудиториях ВЖК читали лекции и вели семинары старший хранитель эрмитажной Картинной галереи А. И. Сомов, академик Н. П. Кондаков, академик Я. И. Смирнов, члены-корреспонденты Академии наук М. И. Ростовцев и Д. В. Айналов и другие.

² П. Я. Кошкина, виднейший ученый в области гидромеханики, Герой Социалистического Труда.

тыре бестужевки — члены-корреспонденты Академии наук СССР (в их числе К. В. Тревер), свыше пятидесяти бестужевок — доктора наук, и среди них М. И. Максимова, в 1919 году уже хранитель Отделения глиптики Государственного Эрмитажа, и Н. Д. Флиттнер, в 1919 году еще ассистент по Отделению классического Востока¹.

Годы, судьбы...

Давным-давно, то ли в девятьсот четвертом, то ли в девятьсот пятом году, экскурсия гимназисток в установленный для того первый день недели осматривала Египетский зал Императорского Эрмитажа. Пояснения гимназисткам давала, как было принято тогда, их же учительница, преподавательница древней истории, и говорила она так живо и увлеченно, что проходивший мимо пожилой господин в длинном сюртуке замедлил шаг, прислушиваясь, остановился неподалеку. Слушал он, впрочем, недолго — учительница, заметив его, смешалась, умолкла. Пожилой господин извинился и быстро ушел. А учительница сказала окружающим ее девочкам:

— Вы видели сейчас гениального ученого. Он был ненамного старше вас, когда напечатал первую научную работу, и о чем? — о древних египетских папирусах!

Запомнил ли Владимир Семенович Голенцев смутившуюся при нем молодую учительницу, так превосходно рассказывавшую детям об ушебти и скарабейх? Он и впоследствии не раз встречал ее в Египетском зале.

В петербургских женских гимназиях Наталья Давыдовна Флиттнер проучительствовала полтора десятилетия, с 1904 года, когда окончила Бестужевские курсы, и до 1919 года, когда, уже сорокалетней женщиной, вполне сложившимся человеком, поступила в Эрмитаж.

Советскому Эрмитажу она отдает второе сорокалетие своей долгой жизни.

Теперь ученики появляются у нее и в Эрмитаже, и в Институте истории искусств, и в университете. Круг ее научных интересов крайне широк: культура и искус-

¹ В первые пореволюционные годы стали работать в Эрмитаже и бывшие бестужевки, впоследствии известные советские искусствоведы Т. Д. Каменская и М. И. Щербачева.

ство Египта, Месопотамии, Сирии, Финикии. Она профессор, доктор исторических наук, но любит себя называть «старой просветчицей». И в самом деле, Наталья Давыдовна была старейшей эрмитажной просветчицей. «С первых дней своей работы в Эрмитаже,— пишет ее ученица по университету, доктор исторических наук М. Э. Матье,— Флиттнер сразу оказалась в центре научно-просветительной работы: она организует первые экскурсии рабочих и красноармейцев, первые выездные лекции на фабриках и заводах, первые передвижные выставки, активно участвует в устройстве при Эрмитаже Рабочего университета, является инициатором работы музея со школой».

Годы, судьбы. Пути и перепутья...

В отчете Государственного Эрмитажа за 1919 год отмечается, что «после коренного переустройства в 1918 году» все отделы и отделения музея не претерпели никаких существенных перемен, кроме бывшего Отделения Средних веков и эпохи Возрождения: «...уже в предыдущем году часть этого Отделения, охватывающая христианские памятники Юга России, была передана в Отдел древностей, теперь туда же были переданы еще две части — Отделение мусульманского Востока и Византия». Хранителем по Отделению византийских древностей был избран Леонид Антонович Мацулевич, ученик Кондакова и Айналова, а хранительская должность по Отделению мусульманского Востока пока оставалась вакантной, может быть потому, что мусульманским средневековьем много занимался академик Смирнов, и первоначально казалось просто невозможным найти достойного преемника покойному Якову Ивановичу. Через некоторое время эту должность займет тридцатитрехлетний профессор, человек примечательный во всех отношениях, для которого академик Смирнов всегда был примером беззаветного служения науке.

Как-то, придя в Эрмитаж, Яков Иванович Смирнов, уже тяжело больной, уже обреченный, принес с собой только что вышедшую в свет, только вчера ему пода-

ренную маленькую книжицу и показывал ее всем, кого встречал. К Тройницкому он зашел специально, — помимо всего прочего, тот был еще и типограф, знал толк в книгоиздательском деле. Тройницкий с любопытством полистал книжку — удачно подобран шрифт, и армянский, и русский, гармонично соотношение текста и полей, все выполнено изящно, со вкусом. Его внимание привлекла последняя страница. До сих пор он видывал книги с предисловиями, с послесловиями — от автора, от редактора, от составителя, от издателя, а в этой — новация, послесловие «От наборщика»:

«Книжка эта набрана в декабре 1917 года в Типографии Российской Академии Наук собственноручно мною, Иосифом Орбели; набор мною же исправлен, сверстан и одет рамками... Выпуская первую мою законченную работу наборщика, я приношу глубокую благодарность всем, кому я обязан возможностью набирать и вести самому мои работы...»

— Рукомесло весьма ученого мужа, притом моего бывшего студента, — сказал Яков Иванович, не вполне уверенный, что имя востоковеда Орбели достаточно известно Тройницкому.

На титульном листе Тройницкий прочел:

«Вопросы и решения вардапета Анании Ширакца, армянского математика VII века. Издал и перевел И. А. Орбели. Петроград. 1918».

На обороте титульного листа было напечатано: «По распоряжению Российской Академии Наук. Непр. Секретарь акад. С. Ольденбург». И ниже: «Набор И. А. Орбели».

Это было целиком в духе Тройницкого: он и сам, заведя в молодости типографию, любил, нацепив фартук, поработать то за наборщика, то за метранпажа, то за печатника. Орбели, о котором он вообще-то слышал, стал ему теперь вдвойне интересен. — Почет и уважение Альду Мануцию! — возгласил он при первом же знакомстве с молодым ученым¹. Позже, когда они уже общались повседневно, Тройницкий узнал, что Иосиф Абгарович, задумав публиковать собранные им древнеармянские надписи, более года обучался наборному ремеслу — иногда по шесть, а чаще по восемь часов в день. Тройницкий признался, что у наборной кассы с верстаткой в руке он более двух часов не выдерживал.

¹ Мануций Альд (1449—1515) — знаменитый типограф и издатель, деятель итальянского Возрождения.

Как и академики Ольденбург и Марр, как и Жебелев и Фармаковский, Иосиф Орбели, самый молодой среди них, с осени восемнадцатого года участвовал в разных эрмитажных совещаниях — обычно все приходили вместе, впятером, с какого-нибудь заседания Археологической комиссии, которая тогда преобразовывалась в Академию истории материальной культуры. Приходил он в Эрмитаж и с правительственным комиссаром Ятмановым, председателем Коллегии по делам музеев, ученым секретарем которой Орбели состоял тоже с восемнадцатого года. И конечно же, бывал он в Эрмитаже и просто так, один, без какого-либо дела, чтобы только побродить по знакомым с юности залам, пофантазировать, пометчать.

Разговор, который с ним повели незадолго до возвращения эрмитажных вещей из Москвы, несколько его не удивил, он ждал давно этого разговора; сперва он отшучивался, но когда его напрямик спросили, согласен ли он занять хранительскую должность в Эрмитаже, возглавить Отделение мусульманского Востока, он, не задумываясь, ответил: да!¹

Эрмитажным хранителем его избрали в соответствии с установленной процедурой. «Председатель, — помечено в протоколе, — оглашает *curriculum vitae* Орбели». Это была чистая формальность — едва ли кто из присутствующих не знал к тому времени, что Орбели в его тридцать три года уже действительный член Академии истории материальной культуры, профессор Петроградского университета, профессор Лазаревского института в Москве, профессор Института истории искусств, что он далеко не новичок и в музейном деле — совместно с академиком Марром еще в студенческие годы производил раскопки в Ани, древней столице Армении, затем заведовал Анийским музеем древностей, а позже, в Петрограде, совместно с академиком Бартольдом возглавлял музей факультета восточных языков. — *Et caete-*

¹ Отделение мусульманского Востока в ряде документов именовалось также Отделением мусульманского Средневековья. Как указано в письме большой группы эрмитажных ученых, адресованном Совету музея, именно в этом отделении работа по формированию и выделению коллекций «еще не начиналась, так как после смерти Я. И. Смирнова оно не имеет руководителя». «Признавая замещение вакантной должности хранителя Отделения мусульманского Средневековья делом срочным и настоятельно необходимым, — говорится далее в письме, — нижеподписавшиеся выставляют на эту должность кандидатуру И. А. Орбели...»

ga, et caetera,— не стал Троицкий читать *curriculum vitae* до конца.

По обыкновению, голосовали записками. «Орбели,— помечено в протоколе,— выбран единогласно закрытой баллотировкой...» В зал заседания пригласили Иосифа Абгаровича. «По предложению представителя Совет приветствует впервые присутствующего нового члена Совета И. А. Орбели, который благодарит за приветствие».

Монография, посвященная жизни и деятельности академика Иосифа Абгаровича Орбели (1887—1961), издана Институтом народов Азии Академии наук СССР. Книге предпосланы следующие слова:

«Деятельность исследователя — по крайней мере в области гуманитарных наук — находит отражение прежде всего в его письменном наследии. И история науки знает величайших ученых, у которых веки жизненного пути совпадают с годами издания основных трудов, а биография их сводится к списку последних.

Но когда ученый одновременно и гражданин своего отечества, у которого высоко развито понимание общественного долга, и деятель культуры, и вдохновенный организатор научных исследований, когда его страстный темперамент и обаяние способны увлечь на научный подвиг... тогда его жизнеописание не вменяется в рамках библиографического списка... Биография такого ученого становится страничкой культуры в широком смысле этого слова.

Таким ученым и был Иосиф Абгарович Орбели».

Он поблагодарил членов Совета за оказанное ему доверие, сказал, что быть одним из хранителей Эрмитажа для него ни с чем не соизмеримая честь. Заседание окончилось, все разошлись, но он еще остался в музее: ему хотелось пройтись по залам — уже на правах хранителя, пройтись одному, наедине со своими мыслями.

Отделение мусульманского Средневековья — с этого он начинает; когда-нибудь, лет через пять, через десять, — большой самостоятельный отдел в Эрмитаже, Отдел искусства и культуры Востока; это не новая, это давняя его мечта, теперь уже не только мечта.

Лестница вверх, лестница вниз; покружив по музею, Орбели оказался в залах нижнего этажа, в бывшем Отделении Средних веков.

Он задержался в четвертом зале. Некогда, до революции, в четвертом зале Отделения Средних веков хранились подношения, сделанные русскому царю восточными властелинами; вещи тончайшего мастерства, сверкавшие сквозь стекла витрин разноцветными камнями и яркой эмалью, клинки персидского сетчатого дамаса, ножны и эфесы, усыпанные бриллиантами и изумрудами, блюда из кованого серебра и золота, чаши искусной работы бухарских ювелиров,— все эти сокровища, как дань привезенные в Санкт-Петербург из Бухары, Хивы, Кашгара, должны были даже здесь, в музее, свидетельствовать о господстве империи над народами гор, над народами степей и пустынь, над народами Семи рек. Рукавом пальто Орбели машинально протер запылившееся стекло пустой витрины,— когда вещи из четвертого зала вернутся в Петроград, они поступят к нему— в Отделение мусульманского Средневековья.

Искусство Востока в дореволюционном Эрмитаже было сосредоточено не в одном только четвертом зале Отделения Средних веков и было представлено, конечно, не одними лишь подношениями бухарских эмиров, хивинских ханов, кашгарских беков,— щедрую и бескорыстную дань Эрмитажу издавна приносила и ответственная археология. На стоянках древних кочевий и на месте исчезнувших городов, в аулах Дагестана и оазисах Туркмении, на перепутьях торговых дорог и в гробницах легендарных завоевателей искали и находили русские археологи и путешественники изумительные произведения из золота, серебра, бронзы и глины. Однако из огромного числа бесценных памятников искусства народов Востока императорский музей включал в свои собрания сравнительно немного, лишь то, что поражало глаз внешним великолепием, необычайностью и причудливостью экзотического облика, да и эти тщательно отобранные вещи размещались по разным залам и разным отделениям— без связи, без мысли, без уважения к той великой культуре, которую они представляли. Широкий и осмысленный показ восточной культуры и искусства противоречил политике, проводимой царизмом среди подвластных ему народов. С точки зрения казенной ориенталистики, пытавшейся подвести

«теоретическую основу» под колониальные устремления русского самодержавия, у этих «неисторических» народов, якобы неспособных к самостоятельному развитию, не могло быть своей исторически сложившейся культуры. Потому-то произведения восточного искусства, попав в императорский музей, оказывались здесь лишь пестрым окружением для господствовавших в Эрмитаже культур — античной и западноевропейской.

Декларация прав народов России, принятая Советом Народных Комиссаров 2 (15) ноября 1917 года, провозглашала равенство и суверенность народов бывшей Российской империи; освободительные принципы, выраженные в этой Декларации, были динамитом, взрывающим до основания стены царской «тюрьмы народов»; положив начало практическому претворению в жизнь политики ленинской партии по национальному вопросу, Декларация эта прозвучала призывным набатом и над закабаленным колониальным Востоком. «Мы знаем,— говорил Ленин,— что здесь поднимутся, как самостоятельные участники, как творцы новой жизни, народные массы Востока, потому что сотни миллионов этого населения принадлежат к зависимым, неполноправным нациям, которые до сих пор были объектом международной политики империализма, которые для капиталистической культуры и цивилизации существовали только как материал для удобрения»¹.

Молодое советское востоковедение впервые вовлекло культуру и искусство Востока в орбиту глубокого научного исследования; теперь это было уже не только мечтой — воссоединить в главном музее страны разрозненные памятники, воссоздать грандиозную панораму развития восточных культур, уходящую в далекую глубь веков, и потому, когда профессору Орбели,— незадолго до возвращения эрмитажных вещей в Петроград — предложили возглавить в Эрмитаже Отделение мусульманского Средневековья, он тут же дал свое согласие: да, с этого он начнет².

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 327.

² Рассказывая о совместной работе с И. А. Орбели над созданием в Эрмитаже научной экспозиции восточного искусства и культуры, профессор А. Ю. Якубовский пишет:

«И. А. Орбели пришел в Эрмитаж с убеждением, которое было подкреплено всей политикой Советской власти, что все народы равны — народы Запада и Востока, народы большие и малые, что нужно ценить вклад каждого из них в культурную сокровищницу человечества. И. А. Орбели прилагал все старания к тому, чтобы художественные ценности Востока, а вместе с ними проблема исто-

Со временем в Эрмитаже образуется крупнейшее в мире собрание памятников искусства и культуры восточных народов. Отдел Востока, немыслимый в дворцовом музее, станет первым эрмитажным отделом, ничем не связанным со старыми «эрмитажными традициями», а люди, его создавшие, будут учеными, по-новому понимающими свои научные и просветительные задачи. По мере роста и оформления Отдела Востока, по мере накопления им опыта, научного и организаторского, все яснее и яснее будут вырисовываться пути, которые облегчат всему Эрмитажу выход на широкую дорогу активного участия в создании социалистической культуры.

...Свыше тридцати лет трудился Орбели в Эрмитаже. Он давно уже возглавлял весь музей, когда, вспоминая раннюю пору эрмитажной деятельности своего друга, академик Е. В. Тарле писал:

«Иосиф Абгарович с первых дней Великой Октябрьской социалистической революции обнаружил редкий в ученой среде талант организатора и руководителя коллективной научной мысли. Задолго до того, как началась его славная, продолжающаяся много лет с таким блеском работа на ответственной посту директора Эрмитажа, И. А. Орбели показал, до какой степени он умеет соединить силы научных работников и, ставя перед ними определенные, строго конкретные задания, направлять по намеченному руслу деятельность всего коллектива. А как нужны всегда, и особенно в годы великих социальных сдвигов, такие организаторы!»



Эрмитажным хранителем Иосиф Орбели был избран в двадцатом году, осенью, за месяц до реэвакуации эр-

рии искусства Востока, заняли в Эрмитаже свое достойное место наряду с величайшими и общепризнанными художественными произведениями Запада...»

«Товарищи, работающие давно под руководством И. А. Орбели над построением новой части Эрмитажа, — продолжает А. Ю. Якубовский, — хорошо знают, что она росла не стихийно, а по заранее составленному плану. И. А. Орбели носил мечту создания в Эрмитаже такой выставки Востока, которая могла бы показать посетителю, что памятники изобразительного искусства — не дорогие раритеты, не предметы экзотики, которые можно противопоставлять драгоценному искусству Запада и античности, но подлинные предметы искусства, рожденные своеобразием пути исторического развития Востока».

митажных коллекций. Но пока что на дворе еще не двадцатый год, а девятнадцатый, и осенью девятнадцатого года ни в Эрмитаже, ни в Коллегии по делам музеев никто не берется назвать даже приблизительные сроки возвращения вещей из Москвы, никто не может сказать ничего определенного — ни в Петросовете, ни в Наркомпросе, ни в Совете Народных Комиссаров. По-прежнему не стихают ожесточенные сражения на фронтах гражданской войны. Колчак, Денкин, Мамонтов, Шкуро. Крестовый поход Антанты — интервенция четырнадцати держав. Военная опасность нависла и над Петроградом — еще более грозная, чем летом. Снова — все на защиту Красного Питера!

10

«Революционный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!» Красноармейский наряд, патрулировавший сентябрьским днем 1919 года Садовую улицу от Инженерного замка до Сенной, обратил внимание на тележку, груженную продолговатыми ящиками, видимо очень тяжелыми, — два артельщика с трудом катили ее по булыжной мостовой, один тянул, другой толкал сзади. Между Итальянской и Невским тележка свернула во двор. Патруль за нею, в те же ворота.

Похоже — логово контры, и в ящиках никак винтовки. Поглядели, куда вносят груз, и сами туда же. Промашка! Вскрыли ящики — стекляшки одни да медяшки, разобранная люстра, как объяснил хозяин квартиры, куплена по случаю.

Раз уж пришли — пошарили там и сям. Полным-полно картин в золоченых рамах; картины да всякие штукосны в комнатах, в чулане, на антресолях, но оружия и прокламаций нигде не обнаружили.

Составлять рапорт о безрезультатном обыске было незачем, но у себя в казарме красноармейцы расписывали квартиру на Садовой так усердно, что их рассказы дошли до начальника штаба Петроградского укрепленного района, и тот не поленился, сам съездил на Садовую. Вернувшись к себе в Петропавловскую крепость, он снесся с писателем Максимом Горьким, председателем Экспертной комиссии; восторги начштаба, должно быть, произвели на Алексея Максимовича сильное впечатление, потому что тут же было составлено письмо:

«Директору Эрмитажа.

Экспертная комиссия покорнейше просит не отказать в любезности произвести экспертизу картин и вещей, находящихся в квартире М. М. Савостина, Садовая, 13. Основание этой просьбы — заявление Начальника Штаба Петроградского укрепленного района <...> об имеющихся в квартире Савостина чрезвычайно редких и высокохудожественных вещах, подлежащих передаче в Музей...

Председатель *М. Горький*¹.

Подписав письмо в Эрмитаж, Алексей Максимович просмотрел почту, поступившую на его имя. Много анонимок — с середины сентября анонимки с бранью и угрозами стали снова в изобилии приходить и по его домашнему адресу, на Кронверкский, и на Моховую, в издательство «Всемирная литература», и сюда, в Экспертную комиссию. Вот и сейчас из конверта вывалилась веревочка с петелькой на конце: от виселицы, дескать, не уйдешь. Пугают, застрашивают. Опять приободрил мертвяков генерал Юденич...

Новое наступление войск генерала Юденича на Петроград приурочивалось военными штабами Антанты к началу похода белой армии генерала Деникина на Москву. Контрреволюционное подполье в Петрограде готовилось оказать вооруженную помощь Юденичу: заговорщики запаслись оружием и, уверенные на этот раз в успехе, даже сформировали собственное «правительство», — ждали условного сигнала.

Юденич должен был выступить 15 сентября, но двинулся на Петроград лишь в конце месяца — англичане запоздали с доставкой снаряжения, обеспечивавшего ударную силу Северо-западной белой армии. Сперва Юденич пошел на Струги Белые и Лугу, а 10 октября предпринял наступление на Ямбург и Красное Село, с каждым днем приближаясь к Петрограду.

Все на защиту Красного Питера! Из ответственных работников Наркомпроса в Петрограде первым отбыл на фронт партиец Киммель, ведавший Отделом иму-

¹ Как оказалось, ничем предосудительным и противозаконным петербургский антиквар Савостин не занимался. А. М. Горький неоднократно привлекал Савостина к работе в Экспертной комиссии.

ществ республики. «Ввиду отъезда Уполномоченного Комиссара Отдела имущества Республики И. В. Кимеля на фронт,—говорилось в циркулярном извещении, полученном администрацией Эрмитажа 6 октября 1919 года,—общее руководство деятельностью означенного Отдела возложено на заведующего Отделом по делам музеев и охране памятников искусства и старины Г. С. Ятманова...» Затем, 16 октября, в воинскую часть, сражавшуюся под Гатчиной, отправился и комиссар Ятманов. «По случаю моего отъезда на фронт заведывание Отделом по делам музеев и охране памятников искусства и старины, Эрмитажем и Дворцом Искусств поручается члену Коллегии Петроградского Отдела народного образования Людмиле Рудольфовне Менжинской»¹.

В который уж раз бойцы Красной Армии вместе с питерскими рабочими грудью защищают цитадель пролетарской революции! Обращаясь 17 октября 1919 года к рабочим и красноармейцам Петрограда, Ленин писал:

«...Царские генералы еще раз получили припасы и военное снабжение от капиталистов Англии, Франции, Америки, еще раз с бандами помещичьих сынков пытаются взять красный Питер... Взятые Красное Село, Гатчина, Вырица. Перерезаны две железные дороги к Питеру. Враг стремится перерезать третью, Николаевскую, и четвертую, Вологодскую, чтобы взять Питер голодом.

Товарищи! Вы все знаете и видите, какая громадная угроза повисла над Петроградом. В несколько дней решается судьба Петрограда, а это значит наполовину судьба Советской власти в России»².

Фронт лег у Пулковских высот — противник захватил уже и Павловск, и Царскую Славянку, и Детское Село.

«Когда осенью 1919 года, мобилизованный, я попал в Петербург,—вспоминает Константин Федин,—город был крепостью. Он так и назывался „Петроградский укрепленный район“, и штаб района стоял в сердце города — в Петропавловской крепости. Белая гвардия Юденича подошла вплотную к городу. Ее командование разглядывало Московскую заставу в бинокли с Пулковских высот. Город собирались взять штурмом либо осадить».

В южной части Петрограда были возведены оборонительные сооружения. На многих уличных перекрест-

¹ Сестра В. Р. Менжинского, член партии с 1904 года.

² Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 230.

ках и площадях стояли пушки. Город готовился отстаивать каждую пядь земли.

Пушечную пальбу у Пулкова слышали уже в городе и днем и ночью.

В Эрмитаже считались с возможностью, что против Юденича будет применена крепостная артиллерия Петропавловки, и эрмитажным хранителям, заступающим на ночные дежурства, пункт 4-й инструкции, составленной 18 октября, предписывал:

«В случае стрельбы из орудий с Петропавловской крепости обойти здание Эрмитажа с наружной стороны, наблюдая, не выбиты ли стекла от сотрясения. В утвердительном случае немедленно вызвать директора и вахтера Счастнева, не допуская посторонним лицам проникнуть в здание через окна нижнего этажа».

Бои шли у Пулкова, и, предупреждая вылазки контрреволюционеров, пританчившихся в подполье, красноармейские и краснофлотские патрули зорко наблюдали за внутренней жизнью города, за улицами и набережными, за жилыми домами и общественными зданиями. С патрулями шутки плохи, могли произойти любые недоразумения, и пункт пятый той же инструкции для ночных дежурств по Государственному Эрмитажу указывал хранителям, как себя держать:

«В случае, если будут требования со стороны воинских частей или патрулей впустить их в Эрмитаж, то объяснить им, что Эрмитаж только музей и никто в нем не живет. В случае настоятельного требования осмотреть помещения, вызвать директора и вахтера Счастнева, у которых находятся ключи».

Ночные дежурства длились с 8 часов вечера до 8 часов утра. Затем начинался привычный эрмитажный день. (Как раз на октябрь 1919 года пришлась круглая юбилейная дата — 250-летие со дня смерти Рембрандта; задумали заседание с докладами, готовили выставку офортов¹.) Дела в Эрмитаже, дела вне Эрмитажа —

¹ Помимо выставки офортов Рембрандта Отделением гравюр в течение 1919 года были устроены еще две выставки: гравюрное искусство XV—XVIII веков и английская бытовая гравюра и карикатура XVIII века. Небольшие выставки устраивались и другими отделениями Эрмитажа; в частности, общественный интерес вызвала экспозиция, посвященная скифским древностям.

развеска и расстановка коллекций в Строгановском и Шуваловском особняках. И еще эпизодические экспертизы картин и художественных предметов — то по поручению Подотдела учета и регистрации, то по просьбе Алексея Максимовича Горького.



Жизни и деятельности А. М. Горького в Красном Питере посвящено немало воспоминаний. «В те критические дни Петрограда он, занятый везде и всюду больше, чем когда-либо, добросовестнейшим образом производил и все свои обычные работы,— рассказывает Михаил Слонимский, в 1919 году совсем молодой писатель, привлеченный Горьким к сотрудничеству в издательстве «Всемирная литература». — Когда белогвардейские войска подступили к самым воротам Петрограда и канонада доносилась до центральных улиц, Горький, как всегда, являлся на работу в своем черном драповом пальто, в черной старомодной шляпе, с толстым портфелем под мышкой».

На Моховую, во «Всемирную литературу», продолжали ходить писатели, ученые, художники — и Корней Чуковский, и Александр Бенуа, и академик Сергей Федорович Ольденбург, и арабист Игнатий Юлианович Крачковский, и поэт Александр Блок. В то время Блок был увлечен идеей Горького показать народу «историю культуры в инсценировках» и писал пьесу «Рамзес» — сцены из жизни Древнего Египта.

...У Пулковских высот не умолкала канонада.

Юденич намеревался взять Петроград штурмом, но Красная Армия и питерский пролетариат напрягли до предела свои силы, остановили врага, опрокинули, смяли, погнали вспять. Детское Село и Павловск освобождены, 26 октября очищено от противника Красное Село, 31-го — Луга, 3 ноября — Гатчина, 7 ноября — Гдов... В своем «Привете петроградским рабочим», опубликованном «Петроградской правдой» 7 ноября 1919 года, в день двухлетней годовщины Советской Республики, Ленин писал:

«...Буржуазия всего мира, и русская особенно, уже предвкушала победу. Но вместо победы они получили поражение под Петроградом.

Войска Юденича разбиты и отступают...»¹.

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 283.

В записной книжке Блок пометил:

«9 ноября... Египетская пьеса».

Пьесу «Рамзес», сцены из жизни Древнего Египта, Блок писал на основе материала, почерпнутого из книг египтологов Гастона Масперо и академика Б. А. Тураева. Действие разворачивалось в четырнадцатом столетии до нашей эры («Новое царство»), в древних Фивах, при Рамзесе II.

«11 ноября, — помечено Блоком в той же записной книжке. — ...Масперо (Вас. Вас. Струве — Эрмитаж)».

Молодого египтолога Василия Васильевича Струве не только по возрасту, но и по характеру его научных устремлений, и по настойчивым попыткам демократизировать музейную жизнь, словом, по всем статьям можно было отнести к разряду тех новых людей, которые пришли в Эрмитаж после революции. Однако служил он в музее давно, относительно давно, с 1914 года, успел какое-то время провести в залах Древнего Востока вместе с Владимиром Семеновичем Голенищевым, а когда в 1915 году Голенищев уехал в Каир, был оставлен смотреть за египетскими древностями — до возвращения Голенищева из очередной экспедиции по Нилу.

Через полвека об академике Струве, общепризнанном старейшине советских востоковедов, будут справедливо говорить, что «помимо предметов своей основной специальности — египтологии, он был хозяином в полном смысле этого слова в истории Древнего мира — Греции, Рима, Месопотамии, Ирана», что «его научная деятельность составила эпоху в советской науке о древних цивилизациях». А сам Струве через те же полвека напишет:

«ЭРМИТАЖ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Для меня, как ученого, изучающего историю Древнего мира, Эрмитаж особенно дорог... Я начал свою научную работу в Государственном Эрмитаже с 1914 года и продолжал ее около 20 лет. В стенах Эрмитажа я познакомился с нашим гениальным соотечественником В. С. Голенищевым, подарившим науке одну пятую ценнейших литературных памятников Египта, почти все из которых изданы в собрании Эрмитажа...»

Он замещал Голенищева и в шестнадцатом году, и в семнадцатом, и в восемнадцатом, когда Голенищев, все еще пребывавший в Египте, был заочно избран хранителем Отделения Древнего Востока. В отчете Отдела

древностей за 1918 год отмечается самоотверженная работа помощника хранителя Струве, занятиям которого в зимние месяцы мешали и необычайно низкая температура в помещениях первого этажа и «царящая, в особенности в Отделении египетском, тьма: неоднократные ходатайства Отдела древностей о предоставлении свечей оставались тщетными, и поэтому В. В. Струве должен был прекращать свою работу в Египетском зале раньше, чем это было ему желательно».

Зимой, в январе 1919 года, профессор Вальдгауер обратился в Совет Эрмитажа с предложением назначить В. В. Струве исполняющим обязанности хранителя Отделения Древнего Востока.

К письму Вальдгауера была приложена визитная карточка:

БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
ТУРАЕВ

(и дальше от руки):

приветствует поручение В. В. Струве обязанностей и. о. хранителя при Отделении Классического Востока в отсутствие В. С. Голеннищева.

По эрмитажным понятиям, это был для Струве большой шаг вверх¹.

Кто-то, очевидно, посоветовал Блоку встретиться со Струве — то ли Тураев, книгами которого пользовался Блок, работая над «Рамзесом», то ли Ольденбург, сразу заинтересовавшийся его египетской пьесой («понравилась Ольденбургу», — пометит Блок в своей записной книжке), то ли Александр Бенуа, не менее других в Эрмитаже наслышанный о выдающихся способностях хранителя египетских коллекций и об его многосторонних познаниях; даже дедушка Липгарт, полиглот-феномен, открыто признавал, что по части языков этот Струве всех перещеголял².

¹ По окончании первой мировой войны В. С. Голеннишев основал и возглавил кафедру египтологии Каирского университета. Хранителем Отделения Древнего Востока, т. е. преемником В. С. Голеннищева в Эрмитаже, стал В. В. Струве.

² Кроме европейских языков, древнегреческого и латыни В. В. Струве прекрасно знал древнеегипетский язык всех периодов его развития — староегипетский, среднеегипетский, новоегипетский, демотический и коптский; изучил Струве и все основные семитические языки: древнееврейский, арамейский и финикийский, а также аккадскую клинопись; после открытия угорийских памятников Струве изучил и их языки, а равно и языки шумерский, хеттский, урартский, а позднее много занимался древнеперсидским.

Свиданию Блока со Струве предшествовал короткий телефонный разговор. Струве обещал приготовить Блоку необходимые ему книги Масперо. Условились, что Блок придет в Эрмитаж 11 ноября, то есть во вторник, после полудня, и что Струве будет его ждать не на Миллионной, не в залах Древнего Востока, где ужасно холодно и темно, воистину тьма египетская, а в Ламотовом павильоне, где и потеплее, и посветлее, и где, как, вероятно, знает Александр Александрович, недавно открыта выставка памятников Древнего Египта.

В отчете Эрмитажа за 1919 год этой выставке уделено несколько строк:

«Сотрудниками Отделения Древнего Востока была организована в помещении Ламотовского павильона по поручению Музейного отдела выставка „Заупокойный культ Древнего Египта“, материалом для которой послужили эрмитажные собрания и другие коллекции. На выставке давались объяснения экскурсиям и прочитан ряд лекций».

Выставка предметов египетского заупокойного культа задумана была в Петроградском музейном отделе как первый опыт наглядной пропаганды среди широких масс населения материалистических взглядов на историю религиозных верований. — Идея прекрасная, — сказал Луначарский, когда Ятманов сообщил ему, что устройство такой выставки поручено Эрмитажу. — Видите, и наш Эрмитаж может идти в ногу со временем.

Выставкой занялся Струве. Египетский зал в нижнем этаже Нового Эрмитажа как помещение для выставки был им решительно отвергнут — темно и холодно. Ламотов павильон не вызывал ничьих возражений.

«Выставка, — говорится в документе, составленном, по-видимому, В. В. Струве, — занимает две небольшие залы, при которых находится лекторий, приспособленный для волшебного фонаря. В первой зале дается историческое развитие саркофага от узкого прямоугольного ящика „Среднего Царства“, кончая саркофагом позднего Египта — с крышкой, изображающей небесный свод...» Наибольшей гордостью Струве являлась, однако, вторая зала, посвященная «реальному погребению», — в ней было собрано все, что могло дать картину внутреннего вида гробницы. «Здесь, — указано в документе, — впервые выставлены в своих саркофагах древнеегипетские мумии, находившиеся до того в Музее ан-

тропологию, хотя и принадлежащие, собственно, к той же коллекции, что и саркофаги Эрмитажа. Дело в том, что по придворным правилам в императорском дворце нельзя было держать трупы, хотя бы трупы эти и насчитывали почтенный возраст в две с половиной тысячи лет. В настоящее время на выставке они возвращены в свои гробницы и, таким образом, положен конец свехтаинственному с египетской точки зрения разлучению тела с гробом, на котором увековечено имя покойного».

За один только сентябрь, по свидетельству архивных документов, выставку осмотрели две тысячи девяти тысяч человек. «Наибольшее число посетителей падает на лекционные дни — четверг и воскресенье, причем в четверги с началом учебного года все в большем количестве являются школьники, в воскресенье же главную массу посетителей составляют экскурсии различных просветительных организаций, приезжающие из окрестностей Петербурга, из Кронштадта, из Красного Села и других местностей».

В октябре, когда наступал Юденич, число посетителей сократилось, в ноябре опять возросло.

Блок, придя 11 ноября в Эрмитаж, пробыл у Струве дольше, чем предполагал. Вторник — день нелекционный, и Струве мог спокойно, не торопясь, показать свою выставку знаменитому поэту.

В Эрмитаж заходил Блок еще несколько раз. Рукопись его египетской пьесы Струве рецензировал в декабре.

«30 декабря. „Рамзес“ от Струве».



Войска Юденича были разгромлены, белая Северо-западная армия перестала существовать, но Петроград и в ноябре сохранял облик крепости, готовой отразить любой вражеский натиск. Оборонительные сооружения оставались необрушенными на многих улицах и перекрестках, и эти следы героического напряжения, пережитого Петроградом, бросились в глаза Джону Риду, после почти двухлетнего перерыва вернувшемуся из Соединенных Штатов в революционную Россию, — он нелегально пробрался через Норвегию, Швецию, Финляндию и, перейдя линию фронта, попал в Петроград.

С Джоном Ридом, как всегда, его блокнот. В блокнот он записывает новые названия хорошо ему знакомых петроградских улиц и зданий:

«Зимний дворец — Дворец искусств... Дума — Дом Лассаля. Площадь перед Смольным — Площадь Диктатуры. Биржа — Клуб моряков. Николаевский мост — Мост лейтенанта Шмидта. Площадь Жертв революции!...»

Памятные ему места. В Зимнем дворце осенью семнадцатого года он побывал дважды — днем 7 ноября и в ночь штурма. Успел ли Джон Рид, оказавшись опять в Петрограде, зайти в бывшую резиденцию Керенского, посмотреть, как выглядят теперь дворцовые залы? Прямые свидетельства отсутствуют, есть только запись на страничке блокнота: *«Зимний дворец — Дворец искусств»*.

В этот приезд Джон Рид пробыл в Петрограде недолго. Он торопился в Москву. В его вещевом мешке лежала вышедшая в Нью-Йорке книга «Десять дней, которые потрясли мир». Он вез ее Ленину. Никто в России этой книги еще не видел, никто еще не читал.

Ленин дал книге наивысшую оценку:

«Прочитав с громадным интересом и неослабевающим вниманием книгу Джона Рида „Десять дней, которые потрясли мир“, я от всей души рекомендую это сочинение рабочим всех стран. Эту книгу я желал бы видеть распространенной в миллионах экземпляров и переведенной на все языки, так как она дает правдивое и необыкновенно живо написанное изложение событий, столь важных для понимания того, что такое пролетарская революция, что такое диктатура пролетариата»¹.

Книга Джона Рида была издана в Нью-Йорке весной 1919 года, в марте. Шесть раз громили, подосланные злобствующими реакционерами, врвались в контору издательства, пытались завладеть рукописью, чтобы ее уничтожить, предотвратить выход книги в свет. Когда же книга все-таки была отпечатана, те же темные силы реакции всеми средствами пытались воспрепятствовать тому, чтобы она дошла до читателя, до американских рабочих. Ее упорно замалчивала буржуазная пресса, большинство книжных магазинов отказы-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 40, с. 48.

валось принимать ее для продажи,— и это тоже было составной частью оголтелой пропагандистской кампании, которая велась господствующими классами капиталистических стран против Красной России — первого в мире рабоче-крестьянского государства.

«Нам передают из Москвы»... «Нам сообщают из Петербурга»... В Вашингтоне и в Лондоне, в Нью-Йорке и в Манчестере, в Чикаго и в Ливерпуле буржуазные газеты устрашают своих читателей «ужасами большевизма», но как и кем фабрикуется вся эта антисоветская галиматья, выдаваемая за «достоверную информацию», отнюдь не тайна ни для Вудро Вильсона, президента Северо-Американских Соединенных Штатов, ни для Ллойд Джорджа, премьер-министра Великобритании. Направляя в феврале 1919 года с особой миссией в Советскую Россию специального дипломатического агента Вильяма Буллита, они помимо прочих заданий поручают ему представить конфиденциальный отчет о действительном положении дел в стране, которой вот уже полтора года управляют большевики.

Возложенное на него поручение Буллит выполнил. В его отчете Вильсон и Ллойд Джордж прочли:

«Советская форма правления установилась твердо... Население возлагает ответственность за свои несчастия всецело на блокаду и поддерживающие ее правительства. Советская форма правления стала, по-видимому, для русского народа символом его революции...»

Буллит, как и следовало ожидать, много места уделил трудным условиям жизни, от которых страдает население Москвы и Петрограда, но при этом отметил, что «разрушительная фаза революции закончилась, и вся энергия правительства обращена на созидательную работу»; он указал в отчете и на то, что «советское правительство, по-видимому, в полтора года сделало больше для просвещения народа, чем царизм за пятьдесят лет»¹.

После того как с отчетом Буллита ознакомился узкий круг советников и помощников президента Соединенных Штатов и премьер-министра Великобритании,

¹ Подчеркивая, что «достижения Народного комиссариата просвещения, руководимого Луначарским, очень значительны», Буллит, в частности, отмечает, что «во многих бывших дворцах устроены рабочие, солдатские клубы, где читают для населения лекции с туманными картинками. В картинных галереях можно встретить рабочих — мужчин и женщин, которым объясняют красоту живописи».

оба экземпляра секретного документа исчезли в недрах стальных сейфов. А со страниц буржуазных газет и журналов продолжали хлестать все те же потоки грязной клеветы на Советскую Россию. И конечно же, и разумеется, что ни день — очередная «достоверная информация» о новых проявлениях «большевистского вандализма», о художественных произведениях и архитектурных памятниках, беспощадно уничтожаемых большевиками.

«Среди множества разных клевет, которые распространяются про Советскую власть, наиболее возмутил меня дошедший до нас через Сибирь слух о статьях американских газет, обвиняющих нас в вандализме по отношению к музеям, дворцам, именным крупным бар, церквям, являющимся великолепными памятниками старины, а часто вместе с тем и исключительными произведениями искусства...»

Стенографистка, которой Луначарский обычно диктовал свои статьи, давно не видела Анатолия Васильевича в таком раздражении.

Луначарский продолжал:

«...Мы можем с гордостью и уверенностью отвести от себя это обвинение и сказать, что мы совершили чудеса в деле охраны таких памятников. Конечно, я отнюдь не хочу этим сказать, что за время революционных восстаний и боев не погибли отдельные художественные ценности... Но ведь надо же понять, что такое великое потрясение, как революция, не может не сопровождаться отдельными эксцессами. Господа империалисты отлично знают, что разгром, которому подверглось культурное достояние человечества во время войны в местностях, оккупированных самими „цивилизованными“ буржуазными армиями, происходил в несравненно больших размерах.

У нас это бедствие имело характер временный...».

За окном льет ноябрьский бесконечный дождь. Таким же ненастным был ноябрь и в семнадцатом году. Тогда, в ноябре семнадцатого года, только организовывались силы, способные поддерживать революционный порядок, только нащупывались эффективные формы спасения народных художественных ценностей.

«...Охранять при этих условиях несметные сокровища дворцов и музеев представлялось вообще делом как будто безнадежным. Прибавьте к этому, что во многих

дворцах, а в особенности в Зимнем, подвалы были набиты винами, водками, коньяками. Нам пришлось все это беспощадно истребить, потому что иначе пьяные погромы могли бы распространиться на Эрмитаж, на залы Зимнего дворца и превратиться в неслыханное бедствие...»

Вино — страшная приманка. Луначарский вспомнил солдата-павловца, который, подобно другим часовым, не утерпел и хлебнул винца из охраняемого им дворцового подвала, а потом, оправдываясь, сконфуженно говорил:

— Поставьте меня у открытого ящика с золотом — не трону, а около вина стоять никак невозможно...

«...Несмотря на все это, — диктовал Луначарский, — мы сумели выйти с честью из тогдашней опасности...» А американские газеты осмеливаются утверждать, что дворцы в Петербурге разграблены, что Эрмитаж давно не существует. «...В то время как лучшие картины старого Эрмитажа вывезены волею Керенского в Москву и еще стоят заколоченными в ящиках в ожидании того дня, когда мы будем абсолютно спокойны за Петербург, — залы Эрмитажа вновь наполняются великолепными произведениями искусства, частью купленными, частью просто перенесенными сюда из частных сокровищниц, до сих пор недоступных публике. А какие чудеса открыты в настоящее время обозрению народных масс и учащихся во дворцах Юсупова, Строганова и других!»

На петербургских дворцах он остановится подробнее. «Сами дворцы служат нам для разного назначения. Лишь некоторые из них — вроде таких, малоинтересных с точки зрения художественно-исторической, как Марининский и Анничков, — заняты для утилитарных целей. Зимний же дворец превращен во Дворец искусств. В его гигантских, роскошных, построенных Растрелли и его учениками залах вы всегда найдете толпы народа, слушающего превосходную музыку, концерты государственной капеллы, государственного оркестра или присутствующего при сеансах кинематографа или на специальных спектаклях. Постоянно устраиваются здесь выставки, из них некоторые были поистине грандиозными по числу экспонатов¹. И выставки и музеи мы стремимся превратить в настоящий источник знания,

¹ А. В. Луначарский имеет в виду Первую государственную свободную выставку произведений искусства.

сопровожаем их лекциями, давая всякой группе посетителей особого инструктора-гида. Выделяя из музеев отдельные небольшие выставки (например, буддийское религиозное искусство, похоронные церемонии и верования египтян и т. п.), мы создаем источники наглядного обучения, и такие выставки посещаются в опустевшем Петербурге массою интересующихся...»

Он остановится и на дворцах в петербургских пригородах — Детском Селе, Павловске, — на дворцах-музеях, которые тоже служат просвещению масс и содержатся в величайшем порядке. «Но я чрезвычайно боюсь, — диктовал Луначарский, — что генерал Юденич и сопровождавшие его великобританские культуртрегеры, пожалуй, нанесли там много ударов столь тщательно сохранявшимся нами, столь популярным в массах дворцам-музеям».

Свою статью он озаглавил: «Советская власть и памятники старины».

«...Наркомпрос с его Отделом охраны памятников старины и произведений искусства может во всякое время дать отчет всему человечеству в своих работах в этом направлении...»¹



В преддверии зимы 1919/20 года Ленин писал:

«Мы добиваем Колчака, мы победили Юденича, мы начали успешно наступать на Деникина. Мы улучшили значительно заготовку и ссыпку хлеба. Но топливный кризис грозит разрушить всю советскую работу...»².

Топливный вопрос, как и предвидел Ленин, «стал в центре всех остальных вопросов».

Особенно трудно приходилось Москве и Петрограду. Из-за отсутствия топлива железнодорожный транспорт временами переставал работать, и Петроград оставался без хлеба; когда замерзла Нева, прекратилось снабжение Петрограда дровами.

В ноябре эрмитажную администрацию официально оповестили, что «Эрмитаж включен в число учрежде-

¹ Статья А. В. Луначарского «Советская власть и памятники старины» была опубликована в ноябрьско-декабрьском номере журнала «Коммунистический Интернационал» за 1919 год. В том же номере этого боевого органа Исполкома Коминтерна напечатана и статья возвратившегося в Россию Джона Рида.

² Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 305.

ний, получающих дрова в 1-ю очередь». Однако воспользоваться этой льготой Эрмитаж не смог — дров в Петрограде не было и до весны не предвиделось.

«В связи с наступившим зимой текущего года топливным кризисом, — сказано в отчете музея, — работа в Эрмитаже была поставлена в чрезвычайно тяжелые условия, так как приходилось работать при температуре значительно ниже нуля».

Электрический свет подавали с большими перебоями, и продолжительность присутственных часов зависела в Эрмитаже теперь от того, каким выдался сегодня — ясным или сумрачным — короткий зимний день.

На фронтах гражданской войны бои не прекращались, но в декабре они шли уже далеко от Петрограда. В декабре Красная Армия освободила десятки городов в Сибири и на Украине; накануне Нового года, 30 декабря, был взят Екатеринослав. 3 января войска Красной Армии заняли Царицын, 7-го — Новочеркасск, 8-го — Ростов-на-Дону... В Сибири, заняв 6 января Красноярску, советские войска взяли в плен остатки колчаковской армии.

...Так кончался год девятнадцатый, так начинался тысяча девятьсот двадцатый год.

11

Было ли это признанием Антантой своего поражения или только пропагандистским маневром, имевшим целью ввести в заблуждение прогрессивные силы, симпатизировавшие Стране Советов, но блокаду, при посредстве которой международная реакция пыталась удушить рабоче-крестьянское государство, империалистам пришлось снять: 16 января 1920 года верховный совет Антанты разрешил союзным и нейтральным странам возобновить торговые отношения с населением Советской России. «Хотя снятие блокады и дает нам некоторое облегчение, — говорил Ленин 24 января, — все же буржуазия Запада, наверное, попытается с нами еще бороться. Уже теперь, сняв блокаду, она натравливает на нас польских белогвардейцев...» И далее, имея в виду советско-эстонские мирные переговоры, которые тогда велись в Юрьеве, Ленин сказал: «...мы заключаем мир с Эстонией, что уже дает нам фактический прорыв

блокады, даже если формальное снятие блокады — один лишь обман»¹.

Мир с Эстонией был подписан 2 февраля, и Ленин придавал ему большое значение: «Этот мир — окно в Европу»². То была огромная победа над всемирным империализмом, знаменовавшая собой перелом в русской пролетарской революции в сторону сосредоточения всех сил на внутреннем строительстве страны. «Мы заключили мир с Эстонией, — писал Ленин 7 февраля, — первый мир, за которым последуют другие, открывая нам возможность товарообмена с Европой и Америкой». В той же статье «Коль война, так по-военному» Ленин призывал:

«Теперь очередь за войной бескровной.

К победе на фронте бескровной войны против голода и холода, против сыпняка и разорения, против темноты и разрухи!»³



Те, кто пережил в Петрограде зиму 1919/20 года, считали, что эта зима была самой тяжелой, намного тяжелей двух предыдущих зим. «Время многое сглаживает в нашей памяти, но мне кажется, что мучительнее всего я переносила холод, — рассказывает Камилла Васильевна Тревер. — В Удельной, петербургском пригороде, где до революции отец заведовал маленькой электростанцией тамошней больницы, я видела, как местные жители разбирали на дрова заборы, сарай, бревенчатые дома. То же происходило и в других пригородах да и в самом Петрограде, где деревянные строения еще не были редкостью. Вязанка дров стоила баснословные деньги, и „буржуйка“ в моей комнате топила не часто».

Всю зиму Камилла Тревер составляла в Эрмитаже указатель археологического материала. «Я имела дело с раскопочными вещами, обычно очень хрупкими, работать в перчатках было невозможно, а без перчаток руки сразу же костенели, не слушались, не повиновались. Вот что я сделала: взяла я свои перчатки и обрезала на них ножницами кончики пальцев, — это было не мое изобретение, так зимой в Петербурге издавна

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 40, с. 67—68.

² Там же, с. 111.

³ Там же, с. 123.

работали трамвайные кондукторы. Вслед за мной перчатки „à la Trever“ завели себе мои товарищи и товарищи в других отделениях Эрмитажа — и нумизматы, и в Кабинете гравюр и рисунков»¹.

Невообразимо страшная зима двадцатого года. «Разные дополнительные пайки и „трудовые обеды“ стали мы получать гораздо позже, жалованья хватало на дватри коробка спичек. В Эрмитаже, как и в других петроградских музеях, все чаще случалось, что пожилые и многосемейные работники, исчерпав последние физические силы, уезжали в провинцию к родственникам или в деревню, уезжали, обливаясь слезами, прерывая долголетние, привычные, любимые занятия. Однако большая часть служащих Эрмитажа осталась на своих местах. Люди, с которыми в ту зиму я работала бок о бок, делали свое дело честно, бескорыстно, добросовестно. Мы были „лояльными музейными спецами“, как назвал нас на какой-то наркомпросовской конференции комиссар Ятманов, ведавший музеями Петрограда, а в его устах это звучало, как похвала, как публичное признание общественной полезности нашего труда».



Третий год Тройницкий связан по службе с Ятмановым, но разобраться, что за человек его непосредственное начальство, никак не может. Сперва ему казалось, что комиссар — человек донельзя ограниченный и занимается явно не своим делом, но, приглядевшись, он пришел к выводу, что это далеко не так и что незря к суждениям Ятманова прислушивается нарком Луначарский. И хотя в кругу «своих» Тройницкий, как и раньше, позволял себе прохаживаться по поводу грубоватых манер и несурзных оборотов речи Ятманова,

¹ В протоколе заседания Совета Эрмитажа 29 марта 1920 года содержится такая запись:

«О. Ф. Вальдгауэр докладывает о выполненной помощником хранителя К. В. Тревер огромной работе по составлению указателя для около 11.000 предметов классической секции Отделения археологии России и предлагает выразить К. В. Тревер признательность Совета за выполненную работу. Заслушав заявление О. Ф. Вальдгауэра о работе, выполненной К. В. Тревер, Совет Эрмитажа считает необходимым подчеркнуть, что в минувшую зиму работы протекали в исключительно тяжелых условиях, при температуре до 7° мороза, и что многие служащие по научно-художественной части исполняли свои обязанности с полным самоотвержением, и потому такая деятельность этих лиц должна быть отмечена наряду с работами К. В. Тревер».

но не отрицал, что комиссар всюду и везде грудью защищает интересы Эрмитажа и что без его энергии и настойчивости не было бы в Музейной коллегии так быстро принято решение о передаче Эрмитажу всего Зимнего дворца. А потом — из-за того же Зимнего дворца — отношение Тройницкого к Ятманову снова изменилось. Он стал утверждать, что у Ятманова семь пятниц на неделе, что Ятманов плевать хотел на Эрмитаж, и все, на что Ятманов способен, — это устраивать в Зимнем дворце кинематографические сеансы: «Молчи, грусть, молчи» с участием Веры Холодной и «Как живут японцы».

Конфликтовали чуть ли не весь год, и Тройницкий полагал, что недруга злее Ятманова у него в Петрограде нет. Но осенью, в октябре, комиссар опять поставил его в тупик: пришел прощаться перед отбытием на фронт — можно ли было ожидать от Ятманова такой куртуазности? Посидел, покурил, и — будто не ему идти ночью в бой, под пули — принялся рассказывать всевозможные подробности о создаваемом в Питере новом музее, Музее революции, первом в России. Он неприступно удивился, узнав, что в Эрмитаже и понятия не имеют о выделении новому музею двенадцати залов в Зимнем дворце, стал клятвенно уверять, что залы передаются временно, до подыскания другого помещения, и, конечно, повторил опостылевший Тройницкому рефрен: когда еще Зимний понадобится Эрмитажу, когда еще эрмитажные вещи вернутся из Москвы. Тройницкий смолчал. Музей революции!.. — идея, по-видимому, подана Лениным; по словам Ятманова, а значит — по словам Луначарского, в Париже Ленину хорошо запомнился маленький музей, посвященный французской революции 1848 года¹.

Простились тепло, сердечно.

И все-таки Тройницкому не разобрать, что за человек Ятманов. Уезжая — зашел попрощаться, а о том, что вернулся и приступил к исполнению обязанностей, известил циркуляром, и только. До февраля заглянул в Эрмитаж, может быть, два раза, может быть, три, и как ни старался Тройницкий, никакого путного раз-

¹ Об этом музее упоминает и Н. К. Крупская в своих воспоминаниях о В. И. Ленине:

«Я помню только один музейчик, из которого Ильич никак не мог уйти, — это музей революции 1848 г. в Париже, помещавшийся в одной комнатухе, — кажется, на rue des Cordilières, — где он осмотрел каждую вещичку, каждый рисунок».

говора с комиссаром у него не получилось: ты ему о дровах, он — о топливном кризисе, ты ему о дензнаках, он — о революционном перевороте в Хиве...

В середине февраля, недели через две после заключения мира с Эстонией, Ятманов рано утром протелефонировал Тройницкому, не в музей, а домой, и резким тоном поставил ему на вид пренебрежительное отношение к его прямым обязанностям — недопустимо, чтобы директор Эрмитажа пропускал одно заседание Музейной коллегии за другим и как раз тогда, когда назрела необходимость обсудить важнейшие вопросы, имеющие непосредственное отношение к Эрмитажу; не дав произнести ни слова в ответ, Ятманов предупредил, что сам сегодня придет в Эрмитаж — то ли в первой половине дня, то ли во второй — и настоятельно просит Тройницкого никуда не отлучаться.

Присутственные часы окончились, служащие разошлись, и в пустой канцелярии, придвинув стул к окну, Тройницкий перечитывал «Les essais»¹ Монтеня.

Вот и Монтень подтверждает: «Величайшая трудность для тех, кто занимается изучением человеческих поступков, состоит в том, чтобы примирить их между собой и дать им единое объяснение, ибо обычно наши действия так резко противоречат друг другу, что кажется невероятным, чтобы они исходили из одного и того же источника».

Тройницкий отложил Монтеня — темно; долго ли ему еще торчать здесь в ожидании Ятманова?

По правде говоря, Тройницкий задержался в музее не только оттого, что ожидал запаздывающего комиссара, но еще и потому, что дал себе зарок уходить из музея последним; он говорил, что сам наложил на себя эту епитимью после ужасного происшествия с Эрнестом Карловичем, который месяца два назад, сумрачным декабрьским днем, прикорнул в кресле Итальянского зала, нечаянно заснул и в итоге провел ваперти жуткую ночь, в полном одиночестве, весь окоченел бедняга, счастье, что не простудился, не захворал². В случившемся Тройницкий винил одного себя

¹ «Опыты» (франц.).

² В протоколе заседания Совета Эрмитажа 3 декабря 1919 года записано:

«С. Н. Тройницкий сообщает о прискорбном случае с Э. К. Липгартом, который оказался по небрежности администрации запертым

и с тех пор не уходил домой, пока вахтер или дежурный галерейный служитель внимательно не осмотрит зал за залом, кабинет за кабинетом, каждый уголок.

Пришел Ятманов не один, а вместе с комиссаром Ерыкаловым из Подотдела учета и регистрации. Вахтер, все тот же Счастнев, увидев, что пожаловало начальство, поставил на стол не черную от копоти лампадку, а большую лампу с тщательно протертым стеклом, которой пользовались, экономя керосин, лишь в редчайших случаях. — Богато живете, — сказал Ятманов и, скрутив махорочную сигарку, склонился над лампой, чтобы прикурить. — Ох, и пышет!

Вопросы, с которых начал Ятманов, огнюдь не спешные, огнюдь не экстренные, удивили Тройницкого: ужели только ради этого комиссар держал его весь день в напряжении? Ятманова интересовала новая выставка, запроектированная в Эрмитаже на лето, и Тройницкий, сдерживая накипавшее раздражение, процедил сквозь зубы, что обо всем уже доложено Музейной коллегии в письменной форме. — Не читал, — признался Ятманов. Тройницкий коротко и подчеркнуто сухо сообщал, что предполагается широкая демонстрация картин и художественных произведений, поступивших в музей уже после Первой эрмитажной выставки, что он, как и Бенуа, находит нецелесообразным разорять эту первую выставку в залах Седьмой запасной половины и что новую выставку они собираются разместить в пустующей Картинной галерее.

Ятманов одобрительно кивал головой, а когда Тройницкий кончил, неожиданно произнес:

— Отстаете от текущего момента...

Содержание последовавшего затем разговора отражено в протоколе заседания эрмитажного Совета, собранного на следующий день, 18 февраля. «Слушали, — сказано в протоколе, — доклад С. Н. Тройницкого о посещении Эрмитажа комиссарами Ятмановым и Ерыкаловым, которые интересовались 2-й выставкой, устраиваемой Эрмитажем, и сообщили, что мы находимся накануне возврата собраний из Москвы, что весной этого года будут открыты границы, предполагается наплыв иностранцев и что необходимо устройство выставок, и если почему-либо помещения Эрмитажа недоста-

в помещении Эрмитажа с 1 на 2 декабря, и предлагает выразить сочувствие Липгарту и его супруге и поставить на вид директору небрежное исполнение обязанностей служащими Эрмитажа».

точные или неудобны, то помещения Зимнего дворца могут служить для этой цели».

В конце недели Ятманов позвал Тройницкого пройти с ним по Дворцу искусств, прикинуть, какие помещения желает взять себе Эрмитаж для устройства новых выставок. Встретились они у Главной лестницы. «От текущего момента комиссар у нас не отстаёт», — улыбнулся про себя Тройницкий, впервые увидев Ятманова в штатском, не в серой армейской шинели, а в черном партикулярном пальто, — сапоги, правда, остались те же, старательно сегодня начищенные солдатские сапоги.

Обошли почти весь бельэтаж, присели передохнуть в Золотой гостиной. Не очень-то презентабельно выглядят дворцовые залы, не топленные всю зиму (где протечка, где обвалилась лепка, где покоровился паркет), но Ятманов утверждал, что если постараться, принадлець, то необходимый ремонт вполне можно произвести и в Зимнем, и в Эрмитаже; деньги найдутся, утверждал Ятманов, надо лишь сократить другие расходные статьи бюджета, можно, скажем, прекратить покупку картин и прочих дорогостоящих вещей у частных лиц — хватит Эрмитажу и того, что он получает из Музейного фонда. Тройницкого передернуло — не с этого конца надо наводить экономию, но от пререканий с комиссаром на этот раз он воздержался.

В газетах каждый день сообщения о новых победах Красной Армии — на Украине, на Кубани, на Кавказе; уже взят Красноводск — ликвидирован Закаспийский фронт; красными войсками занят Мурманск — не стало еще одного фронта, Северного. И те же газеты изо дня в день пишут об отчаянном положении на транспорте — нет вагонов и локомотивов, чтобы подвозить зерно из освобожденных хлебных губерний, нет вагонов и локомотивов, чтобы доставлять уголь из освобожденного Донецкого бассейна, нет вагонов и локомотивов, чтобы перебрасывать войска на горячие участки фронта.

Положение на транспорте отчаянное, перевезти сейчас эрмитажные вещи из Москвы в Петроград будет, пожалуй, еще труднее, чем в прошлом году, и все-таки

в Эрмитаже верили, хотели верить, что теперь, когда блокада снята и ожидается открытие границ, все сложится к лучшему, быстро пойдет на лад.

12

Тройницкий еще раз напомнил:

— Сегодня, ровно в три, на Кронверкском.

«Председатель сообщает,— помечено в протоколе,— что сегодня, 22 марта, в 3 часа, состоится совещание с Горьким по вопросу о реэвакуации собраний Эрмитажа из Москвы; на этом совещании будут присутствовать также представители Русского музея».

Как и условились с Алексеем Максимовичем, руководители обоих музеев пришли с уже готовым, сообща составленным проектом ходатайства о возвращении в Петроград эвакуированных коллекций; среди аргументов, которыми обосновывалось это ходатайство, фигурировала и благоприятно складывающаяся военная и международная обстановка. Зачитанная Тройницким многостраничная записка показалась Горькому затянутой, рыхлой, с ненужными повторами, и он спросил, не найдется ли среди присутствующих доброволец, чтобы поелику возможно «отжать воду».

Пока Воинов в соседней комнате редактировал текст, в столовой, где происходило совещание, шел разговор о текущих музейных делах; на все лады склонялось имя Ятманова — заупрямился, отказывается выплачивать деньги владельцам вещей, уже приобретенных Эрмитажем и Русским музеем, ставит в двусмысленное положение музейную администрацию, взявшую на себя определенные моральные и материальные обязательства. Горький возмутился: он был о Ятманове лучшего мнения.

Отредактированный Воиновым текст приняли без поправок. Сжато была изложена история эвакуации, а затем говорилось:

«В 1919 году музеями и Коллегией по делам музеев и охране памятников искусства и старины постановлено было приступить к работам по обратной перевозке всех эвакуированных коллекций в Петроград, и с этой целью организован был транспорт, закончена вся подготовка, и только исключительно по причинам политического и военного характера реэвакуация была приостановлена.

В настоящее время обстоятельства изменились в том смысле, что нет уже никаких причин, могущих помешать осуществлению столь важного дела, и затруднения, которые будут неизбежно связаны с транспортом, могут быть устранены на практике путем надлежащей организации перевозки собраний по частям.

Резэвакуация теперь же представляется делом совершенно необходимым прежде всего для восстановления двух крупнейших наших музеев, остающихся вот уже в течение почти трех лет в полуразрушенном состоянии, в то время, как столь большая организационная работа в этих учреждениях уже сделана и они могли бы быть устроены в полном соответствии с лежащими на них как культурно-просветительными, так и научными задачами. В настоящее время это является совершенно неотложным делом в связи с все развивающимися научными организациями Петрограда и необходимостью наших собраний памятников искусства и старины, имеющие мировое значение, привести в организованное и удобное для изучения состояние накануне возобновления международных отношений.

Советы Эрмитажа и Русского музея, полагая, что все работы по резэвакуации и реконструкции должны будут быть закончены в течение предстоящего лета, просят разрешения о безотлагательном возвращении в Петроград всех художественно-исторических и научных собраний, эвакуированных в 1917 году».

— Ну что ж, пошлем в Москву... — Горький придвинул текст к себе, пробежал глазами исчерканные карандашом странички и, повернувшись к Тройницкому, озадачил его вопросом: не с завода ли Речкина, как застряло у него в памяти, приходила в Эрмитаж экскурсия рабочих, тех, что высказывали чудовищные подозрения насчет эрмитажных вещей?

Об этом курьезном происшествии Тройницкий некогда сам рассказал Горькому: рабочая экскурсия, придя однажды на эрмитажную выставку в Седьмой запасной половине, ошиблась дверью, нечаянно попала в

Картинную галерею, в зал Рембрандта, и, увидев там одни пустые рамы, подняла страшный шум — куда подевались картины? Все это имело место, но сейчас, через полгода, подтверждая, что рабочие были действительно с завода Речкина, Тройницкий больше полагался на память Алексея Максимовича, чем на свою¹.

Горький сходил за красным карандашом, пронумеровал листки и, вручая их Тройницкому, сказал, что под бумагой, вероятно, с охотой подпишутся многие ученые и художники — недели на сбор подписей более чем достаточно; подписанные экземпляры — один для Луначарского, ибо музеи в ведении Наркомпроса, и другой Владимиру Ильичу как главе правительства — пусть доставят к нему на Кронверкский, — он присовокупит еще несколько слов от себя.

В протокол заседания эрмитажного Совета 5 апреля занесено:

«Председатель докладывает о том, что записка, составленная Советами Эрмитажа и Русского музея о реэвакуации музейных и дворцовых собраний, отправлена в Москву и будет лично передана председателю Совета Народных Комиссаров Ленину М. Ф. Андреевой»².

В письме, которое Мария Федоровна Андреева передала Ленину, Горький затронул разные волновавшие его вопросы. Обратил он внимание Владимира Ильича и на ходатайство петроградских музеев:

«Прилагаю копию заявления Совета Эрмитажа о необходимости реэвакуации его

¹ Завод Речкина — ныне Вагоностроительный завод имени Егорова.

² Вслед за М. Горьким записку подписали академик Н. Марр, академик С. Ольленбург, академик А. Шахматов, профессор С. Жебелов, директор Эрмитажа С. Тройницкий, профессор М. Максимова, директор Русского музея А. Миллер, профессор О. Вальдгауер, А. Бенуа, академик живописи Э. Лянгарт, профессор А. Марков, заместитель директора Эрмитажа профессор Л. Мануэлич, заведующий художественным отделом Русского музея и член Совета Эрмитажа П. Нерадовский, профессор Д. Шмидт, профессор В. Струва, художники С. Яромия и Д. Митрохина и другие члены Советов Эрмитажа и Русского музея.

ценностей из Москвы в Петроград,— и тоже прошу Вашей помощи как член Совета».

Ленин прочел заявление музейных деятелей,— действительно, реэвакуация в прошлом году была разрешена, но, к сожалению, ничего тогда не вышло; ходатайство петроградских ученых безусловно заслуживает внимания.

На полях письма Горького, против строк, где речь идет об Эрмитаже, Владимир Ильич сделал пометку: «Луначарскому».

И отослал письмо в Наркомпрос.

Между тем Луначарский — еще до того, как петроградское ходатайство ушло из Совнаркома в Наркомпрос,— получил непосредственно из Петрограда другой экземпляр этого же документа — и тоже с сопроводительным письмом Алексея Максимовича Горького:

«Дорогой Анатолий Васильевич!

Посылая Вам заявление Совета Эрмитажа, очень прошу Вас дать этому делу возможно быстрое движение.

На самом деле, пора уже восстановить музеи Петрограда в их естественном, нормальном виде, а то получают удивительные курьезы,— напр.: экскурсия зав<ода> Речкина осматривает Эрмитаж.

— А вот этих картин нет здесь.

— Украли! — заключают они вслух.

— Не украли, а вывезли в Москву...

— Ну, да... Все едино... — раздаются голоса.

Дело, пожалуй, не в этом, а просто в том, что музеи надобно привести в порядок...»

Подписьма — об Эрмитаже, подписьма — об Ятманове.

«...И вот что еще, А<натолий> В<асильевич>: не внушите ли Вы Ятманову, чтоб он не скарденничал, не скупился, а — увеличил ассигновки Эрмитажа и Русского музея на покупку новых вещей?

Голод заставляет людей предлагать музеям вещи очень высокой ценности, очень серьезного художественного значения, а — денег у музейев нет.

И тогда владельцы вещей тащат их спекулянтам, антикварам, а сии последние прячут их так, что уж не найдешь, никогда.

Утихомирьте Вы этого Ятманова, скажите ему, чтоб он не мешал людям делать дело, которое они и любят, и понимают...»

Вторая часть письма огорчила Луначарского — у музейщиков с Ятмановым опять нелады, поплакались Горькому в жилетку; но разве вина Ятманова, что в Наркомфине нет дензнаков.

Подписи под присланным ему заявлением Луначарский просмотрел с интересом — все именитая интеллигенция; с петицией петроградцев надо поскорее ознакомиться Владимиру Ильичу. Он написал Ленину:

«...Прилагаю при сем заявление относительно картин Эрмитажа, подписанное Горьким, Марром и целым рядом других лиц.

Крепко жму Вашу руку

Нарком А. Луначарский».

И отослал пакет в Совнарком.

Так-то и случилось, что экземпляр ходатайства, направленный Луначарскому, очутился на столе у Ленина, а экземпляр, адресованный Ленину, оказался у Луначарского, — он поступил в Наркомпрос из секретариата Предсовнаркома с регистрационным номером 178.

Луначарский ответил Ленину 27 апреля: «Вами послана для отзыва за № 178 просьба, подписанная Горьким, Марром и целым рядом представителей петроградской интеллигенции, о возвращении сокровищ Эрмитажа, Русского музея в Петроград». Сообщая далее, что по этому поводу он уже беседовал со своими сотрудниками, Луначарский пишет: «Принципиально мы не только не возражаем против этого возвращения, но очень охотно пойдем ему навстречу». Далее Луначарский просит Совнарком «принципиально разрешить возвращение Эрмитажа и отдельных картин Русского музея в Петроград...»¹.

¹ Именно в цитируемом письме А. В. Луначарский ставит перед В. И. Лениным вопрос о возможности оставления в Москве некоторых картин старых мастеров, взамен которых в Петроград могут быть отправлены отсутствующие в Эрмитаже произведения новейших школ.

Примечательно, что поддержка Наркомпросом ходатайства Эрмитажа и Русского музея о эвакуации из Москвы их художе-

В Эрмитаже ожидали решения правительства. О том, что Наркомпрос не возражает против эвакуации, эрмитажный Совет был оповещен Алексеем Максимовичем Горьким еще в середине апреля. «Председатель сообщает,— указано 19 апреля в протоколе,— что ходатайство Эрмитажа о возвращении коллекций из Москвы, по имеющимся у почетного члена Совета Эрмитажа А. М. Пешкова сведениям, получило благоприятное разрешение». Сообщение Тройницкого вызвало рукоплескания. Однако, когда спустя две недели, 3 мая, Тройницкий подтвердил, что, «по словам приехавшего из Москвы А. М. Пешкова (Горького), вопрос о эвакуации эрмитажных собраний решен в положительном смысле», известие это было встречено в Эрмитаже уже с большой долей скепсиса: на фронте дела у большевиков резко ухудшились, до Эрмитажа ли сейчас правительству, снова всюю идет война.

Как и предупреждал Ленин, Антанта бросила панскую Польшу против Советской страны,— 25 апреля без объявления войны польские войска перешли в наступление, вторглись на территорию Украины и 7 мая захватили Киев. А еще через месяц, в начале июня, когда началось контрнаступление Красной Армии, на помощь белополякам выступили сконцентрированные в Крыму остатки денкинских войск, щедро снабженных Антантой оружием и боеприпасами,— этими так называемыми «вооруженными силами Юга России», двинувшимися из Крыма в Северную Таврию, командовал теперь барон Врангель. «Смерть барону Врангелю, наймиту Антанты!» — зывали плакаты со стен петроградских домов.

ственных собраний сразу же получила отклик в рабочих кругах за границей. Находившийся весной 1920 года в Москве Богумир Шмераль, тогда представитель левой социал-демократии в Чехословакии, а затем один из основателей и выдающийся деятель КПЧ, в письме от 15 апреля, адресованном чехословацким рабочим, рассказывает о посещении им Большого Кремлевского дворца и при этом отмечает: «В нижних комнатах Кремля много забитых пронумерованных ящиков с печатями. Как легко распространилась во всем мире сплетня, будто большевики хотят продать кремлевские ценности!.. А в ящиках хранятся сокровища петроградских музеев... Сейчас Советская власть чувствует себя настолько крепкой, что возвращает эти сокровища в музеи».

Война идет вовсю, а Горький, приехавший из Москвы, уверяет, что Эрмитажу следует усердно готовиться к приему эвакуированных вещей. Позвонили в Москву, в Наркомпрос, но секретарь наркома ответил, что Анатолий Васильевич на фронте. Какая же может быть реэвакуация без Луначарского — столько нерешенных проблем!¹

Не решено еще многое; неизвестно даже, как будет с отоплением музея, с топливом, проще говоря, с дровами.

За всю прошлую зиму только один раз, и то в марте, уже на исходе зимы, Эрмитаж получил десять кубических саженей, для Эрмитажа — щепотка, хотя, по общему признанию, и эти десять кубов явились тогда истинным спасением. Дрова раздобыл Ятманов вскоре после того, как ему была вручена копия протокола экстренного заседания Совета Эрмитажа:

«Слушали: Заявление хранителей о порче от холода предметов эрмитажного собрания (папирусы, терракота, резная кость и резное дерево, ткани и т. п.). Постановили: Низкая температура в здании Эрмитажа (до минус 8° по Реомюру) разрушительно действует в особенности на предметы, которые невелики по своим размерам и, следовательно, для спасения от гибели указанного народного достояния, представляющего огромную художественно-научную ценность, необходимо отапливаемое помещение, всего 4—5 комнат, для чего потребуются незначительное количество дров (50 сажен)...».

Ятманов, ничего не обещав, сунул протокол в портфель. Но, открывая 10 марта очередное заседание Совета, Тройницкий сказал: — Особенность чудес заключается в том, что они иногда случаются. — «Председатель сообщает, что сегодня, 10 марта, в Эрмитаж прибывает первая партия дров для отопления Ламатовского павильона».

Больше десяти кубов Ятманову исхлопотать не удалось, и где он их выцарапал, осталось его тайной.

До весны кое-как дожили. Весной, когда заново обсуждались реэвакуационные проблемы, у Тройницкого состоялся разговор с наркомом Луначарским. «Здание таких размеров и со стенами такой толщины, как Эр-

¹ Готовя контрастступление советских войск, ЦК РКП(б) направил на Украину Ф. Э. Дзержинского с группой его сотрудников и А. В. Луначарского. На А. В. Луначарского была возложена задача провести агитацию в войсках, и прежде всего — в Первой Конной армии Буденного.

митаж,— доложил Тройницкий наркому,— не может вполне оттаять и просохнуть даже в течение всего лета при содействии одного лишь наружного воздуха», а потому Совет музея ходатайствует о предоставлении электрической станции Зимнего дворца, прежде отапливавшейся отработанным паром Эрмитаж, такого количества дров, которого было бы достаточно «для отопления Эрмитажа весной в течение шести недель или по крайней мере одного месяца». Луначарский обещал Тройницкому дать соответствующее распоряжение, но кто знает, успел ли он распорядиться перед отъездом на фронт? Ятманов молчит, а от сырости краска с потолка осыпается теперь не только в одном Испанском зале.

Показания гигроскопов становились все тревожнее. В середине мая влажность в некоторых залах за несколько дней резко повысилась: с 63 до 90 процентов. — Прямо-таки беда,— вздохнул Ятманов. Он съездил в Смольный, и уже 17 мая Тройницкий известил своих сотрудников:

«Сегодня или завтра к Дворцовой набережной будет подведена барка с дровами от 70 до 100—110 кубов»¹.

...Груженная дровами барка, которую закопченный буксирчик тащил вниз по пустынной Неве, тотчас привлекла к себе всеобщее внимание. Дрова попытались перехватить — неподалеку от Литейного моста к барке подошла лодка, и некий весьма решительно настроенный товарищ, потрясая грозным мандатом, потребовал от шкипера изменить курс. Шкипер повиновался. Не поспел бы вовремя Ятманов, дрова были бы сгружены возле бывшего особняка графа Шереметева. Короче, без нервотрепки не обошлось. «С. Н. Тройницкий сообщает, что предполагавшаяся для Эрмитажа партия дров на пути чуть не была реквизирована каким-то учреждением, но благодаря хлопотам комиссара Ятманова инцидент удалось уладить».

Дрова сложили вдоль набережной возле здания Старого Эрмитажа. Днем позже у Иорданского подъезда ошвартовалась вторая барка — с дровами для Дворца искусств.

¹ «В связи с этим, — сказано далее в протоколе, — ...С. Н. Тройницкий предлагает войти в сношение с электрической станцией Дворца искусств о пуске в ход на две-три недели центрального отопления».

Конница Буденного прорвала польский фронт на Украине, и четыре дня спустя, 12 июня, красные войска отбили у белополяков Киев. Положение на польском фронте складывалось в нашу пользу.

Вернувшись из штаба Первой Конной, Луначарский с головой ушел в наркомпросовские дела. В Москву — по его вызову — выехал комиссар Ятманов.

Телеграмма из Наркомпроса прибыла затем и в Эрмитаж — ее содержание изложено в протоколе:

«Комиссар Ятманов вызывает в Москву Тройницкого и Миллера для присутствия на заседании Совнаркома по вопросу о реэвакуации».

Известно, что 18 июня 1920 года Владимир Ильич Ленин и Алексей Максимович Горький провели в дружеском общении несколько часов. Ленин подарил Горькому свою новую книгу «Детская болезнь „левизны“ в коммунизме», они съездили вместе в Главное артиллерийское управление Красной Армии, осмотрели там новое изобретение — аппарат для корректирования стрельбы по аэропланам. Известно также, что 18 июня, т. е. в тот же день, Ленин написал записку секретарю: «Напомнить мне о 2-х бумагах, данных мне Горьким. *До среды*». Какие именно бумаги, полученные от Горького, имел в виду Владимир Ильич, до сих пор, к сожалению, не установлено. Вполне возможно, что одна из бумаг касалась вопросов, связанных с обеспечением безопасности художественных ценностей на складах Экспертной комиссии, — во всяком случае, 20 июня, через день после свидания с Алексеем Максимовичем, Ленин пишет в Наркомфин, предлагая оказать содействие А. М. Горькому в оборудовании здания Экспертной комиссии противопожарными средствами. Не менее вероятно предположение, что тогда же, 18 июня, то ли устно — в разговоре с Владимиром Ильичем, то ли письменно — в одной из тех бумаг, о которых Ленин просил своего секретаря напомнить ему *до среды*, Горький, как член Совета Эрмитажа, затронул и реэвакуационные вопросы, — ведь именно *в среду, 23 июня 1920 года*, Совет Народных Комиссаров принял решение о возврате в Петроград эрмитажных сокровищ.

Выехал Тройницкий в Москву, чтобы присутствовать на заседании Совнаркома, во вторник 22 июня. Пассажирский поезд начал опаздывать, еще не отойдя от платформы, — тронулись на четыре часа позже, чем было указано в расписании. От станции к станции опоздание увеличивалось. Словом, на заседание Совнаркома директор Эрмитажа не поспел и о постановлении, принятом правительством, услышал лишь утром следующего дня от комиссара Ятманова, с которым столкнулся в подъезде Наркомпроса.

Ятманов поздравил Тройницкого — в самом деле, ничего лучшего нельзя себе и представить: как только будут завершены советско-финляндские мирные переговоры, которые уже ведутся в Юрьеве, эрмитажные вещи поедут домой — и не частями, не отдельными партиями, как думали в Эрмитаже, а все сразу, полностью, целиком.

К Луначарскому в этот свой приезд Тройницкий почему-то не попал — у всех был, всех повидал, кроме наркома; удачливее оказались сотрудники Эрмитажа, приехавшие в Москву некоторое время спустя, — о полуторачасовой беседе с наркомом они доложили эрмитажному Совету:

«Луначарский официально подтвердил факт состоявшегося постановления Совета Народных Комиссаров, коим решено коллекции Эрмитажа перевезти по заключенному миру с Финляндией по единоличному распоряжению Народного комиссара по просвещению. При этом Луначарский заявил, что это распоряжение им будет отдано немедленно по заключении упомянутого мира».

13

Неба такой чистой голубизны не бывало в прежние годы над Петербургом — может быть, оттого, что не дымят заводские трубы; и Нева тоже очаровывает Александра Бенуа: давно ли ее волны лишь робко крались между барками и набережными, отражения ежесекундно всколыхивались мчавшимися во все стороны парходами, воздух был затуманен и отравлен дымами, и даже самая вода потеряла свою прозрачность и подернулась маслянистыми иризациями; пронесся чудовищный ураган, размышляет Александр Бенуа, многое

он развеял и погубил, самое существование города поставил под знак вопроса, зато в эти самые страшные дни бытия — то, что казалось утраченным двухсотлетним городом навсегда, — его «естественная молодость» — вернулось петербургскому пейзажу.

Неву с возвращенной ей ширью, с ее неожиданным раздольем, в ее «первоначальной прелести» он вскоре увидит на литографиях, которые разложит перед ним Анна Петровна Остроумова, товарищ по вкусам, участница многих выставок «Мира искусства». «Основной темой литографий Остроумовой, — напишет Бенуа в предисловии к ее альбому «Петербург», — является Нева, которой как раз за годы революции вернулась та красота, которой могли любоваться наши деды и которую затем наша река под напором всяческого „прогресса“ утратила... Художник, присутствуя при таком чуде, готов забыть все невзгоды, всю трагичность момента и приглашает своих сограждан любоваться тем, чем любовались сто и двести лет назад — Невой, которой возвращены почти целиком ее ширь, ее раздолье, ее пустынность»¹.

И у Александра Бенуа, и у Анны Остроумовой, и у их товарищей по вкусам и мироощущению на всю жизнь запечатлелся в памяти зрительный образ Петрограда начала двадцатых годов — безлюдный архитектурно-гениальный пейзаж. «Петроград в те годы был пустынен, — вспоминает через полвека художник Владимир Милашевский. — ...Но *душа* города, может быть, звучала тогда ярче и чище, чем когда-либо с эпохи его создания... Была в нем тихость какого-нибудь Васильсурска или Козьмодемьянска, это сходство делали тишина и чистота воздуха. Конечно, Великий город не смог бы сделаться провинцией, даже если бы в нем осталось жить всего триста — четыреста человек. Растрелли, Захаров, Стасов, Кваренги, Росси этого бы не позволили! ...Петроград неповторим в мире, а не только в России. Он неповторим и в истории человечества на земле. Но только он напоминал величественный Музей Искусств и Истории, временно закрытый для посетителей».

Город-призрак — таким он и представлялся тогда каждому из тех, кто с юношеских лет впитал в себя

¹ Изданный в 1922 году альбом автолитографий А. П. Остроумовой «Петербург» (со вступительной статьей А. Н. Бенуа) имелся в рабочей библиотеке В. И. Ленина в Кремле среди книг, посвященных искусству.

многоликий образ Петербурга,— Петербург Пушкина, Петербург Гоголя, Петербург Достоевского, Петербург Блока... А вот американский коммунист Джон Рид, автор «Десяти дней, которые потрясли мир», знал только один-единственный Петербург, не Петербург, а Петроград — город Октябрьской революции. «Героический Петроград... Пролетарский город», — летом двадцатого года Джон Рид любит Петроградом. До чего прекрасен город в пору белых ночей! И вовсе он не так уж пуст, и вовсе он не безлюден. Наслаждаясь теплыми и светлыми вечерами, петроградские пролетарии гуляют в садах и скверах, слушают музыку, катаются на лодках. «В Петрограде во всех парках по вечерам играют оркестры, — пишет Джон Рид в корреспонденции, датированной «июль 1920». — Тысячи пестро, опрятно, полетному одетых людей прогуливаются взад и вперед, пьют чай и кофе по пять рублей стакан (меньше цента на наши деньги), и если им это по карману, то даже покупают у спекулянтов кусковой сахар по сто пятьдесят рублей за кусочек... На бывшей Английской набережной — а теперь набережной Джона Маклина... можно взять лодку и доплыть по Неве до Смольного, мимо недавно вновь позолоченного шпиля над усыпальницей царей в Петропавловской крепости, где сейчас реет большой красный флаг...»

И вовсе он не пуст, этот пролетарский город, и вовсе он не безлюден, героический Петроград. Ликующих людей — бесчисленные ряды, теснящиеся на станционных платформах Николаевского вокзала, — увидели уже из окон вагонов посланцы рабочих всех стран мира, утром 19 июля прибывшие из Москвы специальным поездом, — вдоль каждого вагона протянута алая лента: «Отремонтирован в честь Второго конгресса Коминтерна на коммунистическом субботнике». Ликующие люди у здания Смольного — иностранным делегатам показывают штаб Октября и исторический Актный зал. Ликующие люди на всем пути от площади перед Смольным до Таврического дворца — делегаты Коммунистического Интернационала идут все вместе, колонной, во главе колонны Ленин, — питерские рабочие приветствуют братьев по классу, восторженно приветствуют Ленина, своего вождя, вождя мирового пролетариата.

В Таврическом дворце на открытии Второго конгресса Коминтерна делали зарисовки несколько петро-

градских художников. Верейский устроился в проходе; неподалеку от трибуны. «Глубокое впечатление произвело на меня уже само появление на трибуне Ленина, встреченного долго не смолкавшими аплодисментами, прерываемыми звуками „Интернационала“, бурными овациями... На сосредоточенном лице Ленина ни тени польщенного самолюбия. Лишь изредка пробегало по нему выражение нетерпения, нетерпения человека, желающего поскорее приступить к делу». Ленин говорил около двух часов, и все это время Верейский рисовал горящего Ленина.

Когда закончилось первое заседание в Таврическом дворце, делегаты (среди них был и Джон Рид) направились на Марсово поле — оно уже зеленело кустами и деревьями, посаженными на пыльном плацу в недавний первомайский субботник. Вокруг могил жертв революции и во всю длину главной аллеи — вплоть до самой Невы — застыли в строю балтийские военморы. Вместе с Лениным делегаты конгресса — от имени пролетариев всех стран — возложили венки на могилы героев, павших в борьбе за коммунизм. В Петропавловской крепости прогремел орудийный салют. Стоя в толпе, Верейский наблюдал торжественную церемонию.

С Марсова поля он поспешил в Эрмитаж: на Дворцовой площади ожидается митинг, перед Зимним дворцом сооружен деревянный помост, и, если условиться с комиссаром Ятмановым, из Ламотова павильона можно будет пройти во дворец, отворить окно, обращенное на площадь, и не только еще раз увидеть, но и снова услышать Ленина. Придя в Эрмитаж, Верейский застал здесь большое общество — с Ятмановым уже договорились.

Набросок, сделанный на открытии конгресса, он показал любопытствовавшим сослуживцам нехотя — сегодня он недоволен собой: Ленина рисовать очень трудно, необычайная подвижность лица, непрерывно меняющееся выражение; к тому же не давала сосредоточиться стремительная и захватывающе интересная речь. «Я все время превращался из художника в слушателя, который боится пропустить хотя бы одно слово».

Он рассказал, какое воодушевление царило в Таврическом дворце, как эффектно выглядел зал заседаний и что никогда раньше он не слышал пение «Интернационала» одновременно на разных языках. В Таврическом дворце, рассказал Верейский, на открытии конгресса присутствовал Максим Горький; и в уличном шествии

тоже участвовал Горький — шел впереди рядом с Лениным.

То, что Горький связан с Лениным дружескими отношениями, было в Эрмитаже общеизвестно. Импонировало: Максим Горький, деятельный член эрмитажного Совета, издавна знаком с главой правительства, председателем Совнаркома. Но и самому Горькому было бы интересно узнать, что Сергей Федорович Ольденбург, входящий в нынешний состав Совета музея, познакомился с Лениным намного раньше, не в девятьсот пятом году, как Горький, а за пятнадцать лет до того. Сергей Федорович отлично помнит молодого Владимира Ульянова, который, приехав в Петербург, навестил его, чтобы расспросить о подробностях петербургской жизни своего старшего брата Александра, казненного царскими палачами, — до последнего ареста, с середины восьмидесятых годов, Александр Ульянов работал вместе с Ольденбургом в научном отделе студенческого научно-литературного общества в Петербургском университете. «Владимир Ильич посетил меня после насильственной смерти Александра Ильича, которую мы, близко знавшие покойного, переживали тяжело и глубоко... Помню внимательное, мрачное лицо Владимира Ильича во время моих рассказов о его брате... Наш разговор прерывался долгими молчаниями, и мы оба понимали, что думаем о том, о ком говорили». Таким Ленин и запомнился академику Ольденбургу — молодой человек, уже изведавший полицейские гонения, арест, высылку, приехавший в Петербург сдавать экстерном экзамены за университетский курс. Но, оказывается, еще задолго до Ольденбурга знал Ленина другой эрмитажный ученый; профессор Фармаковский, оказывается, провел детские годы в Симбирске и дружил тогда со своим сверстником Володей Ульяновым, гимназистом младших классов; отец Фармаковского и Илья Николаевич Ульянов служили по ведомству народного просвещения, семьи были хорошо знакомы между собой, их связь не прерывалась и после того, как Фармаковские переселились в Оренбург, — переписывались и родители, и дети; однажды Боря Фармаковский получил от Володи Ульянова письмо, шуточное подражание письмам индейцев, «письмо тотемами», как его назвал двенадцатилетний автор, причем рисунки; «тотемы», были сделаны на бересте.

...Выходит, что в Эрмитаже не один только Горький, а три члена Совета знакомы лично с Лениным,— для Верейского это новость. Ленина он видел сегодня впервые. Жаль, что набросок не удался.

Вечером, окруженный делегатами конгресса, Ленин пришел на Дворцовую площадь,— в Москве в этот час уже смеркается, а в Питере светло, белые ночи.

«Перед залитым горячим солнцем Зимним дворцом открылся митинг, такой же грандиозный, такой же необычайный, как и всё в этот чудесный день,— вспоминает Елизавета Драбкина, писатель-коммунист, член партии с 1917 года. — ...Делегаты смешались с толпой... Площадь задрожала от аплодисментов, когда на сколоченном на скорую руку помосте появился Владимир Ильич Ленин. Его слушали, запрокинув назад головы, а когда он кончил — сто тысяч голосов слились воедино в возгласах: „Ленин“, „Товарищ Ленин!“, „Да здравствует Ленин!“».

Ленин глядел на площадь, от края до края заполненную народом,— питерские рабочие, он часто думает о них, ставит в пример, говорит, пишет. «В Петрограде рабочим давно уже приходится нести на себе еще больше тягот, чем рабочим в других промышленных центрах». И никакого уныния. «Наоборот. Они закалены. Они нашли новые силы. Они выдвигают свежих борцов. Они превосходно выполняют задачу передового отряда, посылая помощь и поддержку туда, где она более всего требуется».

Прежде чем сойти с помоста, Ленин еще раз оглядел площадь — товарищи петроградцы, закаленные бойцы! На мгновение он задержал взгляд на здании штаба Петроградского военного округа — в первые дни Октября стояла задача разгромить войска Керенского — Краснова, и в штабе округа он провел тогда много часов. Из Смольного в штаб, из штаба в Смольный; на Миллионной, против гранитных атлантов, у входа в музей всегда горел костер, у огня грелся красногвардейский караул. В семнадцатом — Краснов, в девятнадцатом — Юденич... Юденич был в нескольких верстах от Петрограда... Непомерные тяготы, и — никакого уныния, ни малейшего уныния.

В Москву уехал Ленин поздно вечером. Это был последний приезд Ленина в Петроград.

«Многое особенно сильно интересовало меня в России, переживавшей грандиозную социальную катастрофу, в том числе — как живет и работает мой старый друг Максим Горький. То, что рассказывали мне члены рабочей делегации, вернувшейся из России, усилило мое желание самому ознакомиться с тем, что там происходит». В сентябре Горький получил письмо от Герберта Уэллса: собирается в Россию через Эстонию, из Ревеля даст телеграмму.

И вот Уэллс в Петрограде. — Ваши первые впечатления о городе? — спросил его корреспондент РОСТА. Уэллс ответил, что тротуары находятся в ужасающем состоянии, а мостовые изрыты ямами.

(Уэллс не преувеличивал, улицы выглядели неприглядно, но несколькими днями раньше приехавшая в Россию немецкая коммунистка Клара Цеткин в ответ на тот же вопрос интервьюировавшего ее корреспондента взволнованно произнесла:

— Неподалеку от Путиловского завода я видела развороченную мостовую и баррикаду, сложенную из камней во время наступления Юденича. Перед моим внутренним взором возникли баррикады Парижской коммуны. О, святые камни революции!)

Уэллс был принят Лениным в Кремле утром 6 октября. «Я пришел, готовый к столкновению с марксистским догматиком. Но он оказался совсем не похож на догматика. Я слышал, будто Ленин любит поучать; однако в нашей беседе ничего подобного не было». Много тем затронули собеседники, в первую очередь — о будущей России; именно после этого разговора Уэллс назвал Ленина «кремлевским мечтателем», а ленинский план электрификации расценил как сверхфантазию. «Сколько ни вглядываюсь я в будущее России, словно в темный кристалл, — напишет затем Уэллс, — мне не дано разглядеть то, что видит этот невысокий человек, работающий в Кремле: он видит, как вместо разрушенных железных дорог возникают новые, электрифицированные магистрали, как по всей стране прокладывают новые шоссейные пути, как создается новое, счастливое коммунистическое государство с могучей промышленностью. И во время нашей беседы он почти заставил меня поверить в свое предвиденье».

На следующий день, 7 октября, вернувшись в Пет-

роград и выступая в Таврическом дворце на заседании Петросовета, Уэллс говорил:

— Вы стоите перед созидательной работой, изумительной своим бесстрашием и силой. Эта работа не имеет себе равной в истории человечества.

Пятнадцать дней пробыл Герберт Уэллс осенью 1920 года в Красном Петрограде и в Красной Москве. «В Петрограде я жил не в отеле „Интернационал“, где обычно останавливаются иностранцы, а у моего старого друга Максима Горького».

Однажды Горький предложил Уэллсу сходить вместе с ним в исключительно интересное место — на склад антикварно-художественных ценностей, самый большой в Петрограде: склад этот находится в ведении так называемой Экспертной комиссии и, кстати говоря, размещен в здании бывшего британского посольства на Дворцовой набережной.

Уэллс охотно принял приглашение — эта область деятельности большевистских властей его чрезвычайно интересует.

(Потом он напишет в книге «Россия во мгле»:

«Когда терпит крах общественный строй, основанный на частной собственности, и все права на частную собственность внезапно отменяются целиком и полностью, невозможно отменить и ликвидировать само имущество, находившееся прежде в частной собственности. Дома вместе со всей обстановкой стоят, как прежде, в них живут их бывшие хозяева, если только они не сбежали из России. Когда большевистские власти реквизируют дом или занимают пустующий дворец, им приходится решать, как поступить с этим имуществом... Чтобы надежнее обеспечить сохранность ценностей, Экспертная комиссия собрала и взяла на учет все, что может считаться произведением искусства».)

До Дворцовой набережной от Кронверкского проспекта совсем недалеко. Пошли пешком.

Каждый раз, когда Уэллс проходит по этому красивому мосту, его поражает пустыньность широкой Невы — ни катера, ни буксира, ни баржи. А старинный дворец по ту сторону моста знаком ему давно: в четырнадцатом году, впервые посетив Петербург, он, естественно, побывал в британском посольстве. Любопытно, как выглядит теперь недавняя резиденция Джорджа Бьюкенена?

«Дворец, где прежде помещалось британское посольство, напоминает переполненную старинными вещами антикварную лавку на Бромптон-роуд. Мы ходили по залам, в которых свалены прекраснейшие обломки старого общества. Просторные покои заставлены скульптурами; нигде, даже в Неаполитанском музее, мне еще не доводилось видеть сразу столько беломраморных Венер и сильфид. Всевозможные картины сложены штабелями, а в коридорах до самого потолка висят одна на другой инкрустированные этажерки; одна зала заставлена ящиками со старинными кружевами, другая — роскошной мебелью. Все это нагромождение ценностей описано и взято на учет».

Уэллс написал книгу, проникнутую симпатией к молодой Советской стране. Но автор «России во мгле» не был единомышленником большевиков, многое в русской революции оставалось ему непонятным — это ощущается чуть ли не на каждой странице его книги, включая и ту, где он подробно рассказывает об антикварном складе в бывшем британском посольстве. По словам Уэллса, «никто и понятия не имеет, как быть дальше с этим никчемным великолепием», а между тем в двадцатом году Экспертная комиссия, возглавляемая А. М. Горьким, играла определенную и притом весьма значительную роль в жизни советских музеев, энергично содействовала созданию *государственного музейного фонда*.

Искусство — народу! В день, когда Герберт Уэллс приехал в Россию, 26 сентября 1920 года, А. В. Луначарский докладывал III сессии ВЦИК о деятельности Наркомпроса:

«Очень возросло также количество музеев. В настоящее время провинциальных музеев насчитывается сто девятнадцать против тридцати одного старого времени. Сейчас даже музейеведы заявляют, что они изумлены и очарованы тем, в какой мере вся толща народа при Советской власти прониклась желанием собирать и охранять древности. Эрмитаж у нас увеличился в полтора раза».

Есть глубочайшая внутренняя связь между фактическими данными о советском музейном строительстве, оглашенными Луначарским с трибуны III сессии ВЦИК, и высказываниями Ленина о художественном наследии, которые Клара Цеткин, находившаяся уже

в Москве, услышала на дому у Владимира Ильича. («Ленин застал нас — трех женщин¹ — беседующими по вопросам искусства, просвещения и воспитания... Ленин тотчас же очень живо вмешался в разговор».)

«Мне кажется, что и мы имеем наших докторов Карлштадтов², — приводит Клара Цеткин ленинские слова. — Мы чересчур большие „ниспровергатели в живописи“. Красивое нужно сохранить, взять его как образец, исходить из него, даже если оно „старое“. Почему нам нужно отворачиваться от истинно прекрасного, отказываться от него, как от исходного пункта для дальнейшего развития, только на том основании, что оно „старо“? Почему надо преклоняться перед новым, как перед богом, которому надо покориться только потому, что „это ново“? Бессмыслица, сплошная бессмыслица! Здесь много лицемерия и, конечно, бессознательного почтения к художественной моде, господствующей на Западе. Мы хорошие революционеры, но мы чувствуем себя почему-то обязанными доказать, что мы тоже стоим „на высоте современной культуры“. Я же имею смелость заявить себя „варваром“. Я не в силах считать произведение экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих „измов“ высшим проявлением художественного гения. Я их не понимаю. Я не испытываю от них никакой радости».

Установлено, что беседа с В. И. Лениным по вопросам искусства, подробно записанная Кларой Цеткин, происходила между 22 и 28 сентября 1920 года — за несколько дней до открытия III Всероссийского съезда комсомола; в своей речи на этом съезде Ленин 2 октября сказал:

«Без ясного понимания того, что только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру — без такого понимания нам этой задачи не разрешить»³.

Придя вместе с Горьким на Дворцовую набережную в бывшую резиденцию сэра Джорджа, превращенную в хранилище национализированных произведений искусства, прохаживаясь по залам, в которых были собраны

¹ Клару Цеткин, Н. К. Крупскую, М. И. Ульянову.

² Псевдоним Андреаса Боденштейна (1480—1541), видного деятеля бюргерской реформации в Германии, яркого иконоборца.

³ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 304.

«прекраснейшие обломки старого общества», Уэллс недоумевал, что станет в будущем «с этим никчемным великолепием». Конечно, он верил Горькому и все-таки считал своего старого русского друга тоже превеликим утопистом. Тысячи картин, мраморы, мебель Чиппенделя, Буля, Рентгена... «Если русские коммунисты действительно создают новый мир, то в их новом мире все это как будто оказывается неуместным». Уэллс не мог себе представить, что столь много драгоценных вещей, вроде бы никому теперь в России не нужных, вскоре перекочат отсюда и в бывший Императорский Эрмитаж и в другие народные музеи.

15

К осени детально любого петроградского пейзажа стали сложенные штабелями дрова. «Советское правительство не пожалело усилий, чтобы подготовить Северную коммуну к предстоящим трудностям,— пишет Герберт Уэллс в своей книге «Россия во мгле». — Дрова сложены штабелями на набережных, посреди главных улиц, во дворах — всюду, где только возможно. В прошлую зиму многие жили в домах при температуре ниже нуля; водопроводные трубы замерзали, канализация не работала... Возможно, в нынешнем году будет легче. Говорят, будто и продовольственное положение улучшилось, но мне трудно в это поверить. Железные дороги пришли почти в полную негодность; паровозные котлы топят дровами, и локомотивы все более изнашиваются; когда составы, громяхая, ползут со скоростью не выше двадцати пяти миль в час, болты шатаются и рельсы дрожат под колесами. Но даже если бы железные дороги не были в столь безнадежном состоянии, все равно южные продовольственные районы захвачены Врангелем. Скоро холодные дожди обрушатся на 700 000 душ населения, оставшегося в Петрограде, а потом пойдут снега. Ночи становятся все длиннее, а дни убывают».

Сажени сырых дров закрывают с Невы фасады Зимнего дворца, Ламотова павильона, Старого Эрмитажа. С дровами относительно благополучно. За лето, готовясь к возвращению вещей, в Эрмитаже сумели просушить экспозиционные залы и кладовые. Произвели и посильный ремонт — заменили разбитые и треснувшие стекла в фонарях больших просветных зал. Горе с этими фонарями! Мучились с ними и в старые времена.

Крайне неудачна сама конструкция: чуть что — в залах капель, течет, лужи на паркете. Слава богу, луж больше нет: вчера был сильнейший ливень, и обошлось без протечек¹.

В Эрмитаже рассчитывали, что вещи придут летом, — не получилось; давно подписаны и даже ратифицированы мирные договоры с Литвой и Латвией, но советско-финляндская мирная конференция тянется и тянется, конца ей не видно. Мира с Финляндией эрмитажные хранители ждут со все возрастающим нетерпением, живо представляя себе, как шедевры Эрмитажа, вернувшись из Москвы, воссоединяются с его новыми коллекциями, с его новыми шедеврами, — мир с Финляндией, за этим лишь дело.

Дни убывают, ночи удлиняются, — скоро зима. Как и прежде, в Эрмитаже разбирают, изучают, описывают новые поступления — в нынешнем году их не меньше, чем в прошлом; как и прежде, эрмитажные хранители участвуют в экспертизах то на складе музейного фонда, то в бесхозной квартире или на заброшенной даче, а то и в каком-нибудь тайнике, вновь обнаруженном сотрудниками ЧК². В журналы заседаний Под-

¹ В документах тех лет говорится: «Драгоценные паркетные полы, имеющиеся в залах Эрмитажа, подвергаются систематической порче от воды, протекающей сквозь стеклянные фонари в потолке». Сказано и о конструктивных дефектах фонарей: «Главный недостаток существующей конструкции заключается в том, что наружное остекление имеет недостаточную крутизну и поэтому стекающая по нему вода удаляется весьма медленно и легко проникает в трещины. Образование последних обуславливается тем, что фонари не имеют достаточно жесткой опорной конструкции и поэтому при всякого рода сотрясениях, происходящих от движения людей по крыше при очистке снега и даже при проезде тяжелых экипажей по улице, стыки на замазке легко приходят в расстройство и иногда даже лопаются стекла». Эти же стеклянные фонари доставили много хлопот работникам Эрмитажа и два десятилетия спустя, в годы Великой Отечественной войны.

² В сентябре 1920 года такой тайник, например, был раскрыт в Ново-Михайловском дворце — дом № 18 по Дворцовой набережной. В протоколе заседания 2-й секции Подотдела учета и регистрации памятников искусства и старины 28 сентября записано: «В Михайловском дворце в подвальном этаже обнаружено замурованное помещение, в коем оказались ряд картин, бюсты, шкаф *empire* французской художественной работы, ящики с миниатюрами и проч., принадлежавшие быв. вел. князю Николаю Михайловичу; от сырости подвала пострадали акварели и пастели и расклевался шкаф. Об обнаружении означенных художественных вещей составлен акт и вещи опечатаны. По маению представителей Эрмитажа, попорченные сыростью вещи можно реставрировать. Предполагается все эти вещи перевезти в Эрмитаж».

отдела учета и регистрации едва ли не каждый день вносятся пометки о «назначенных перевозках»:

«От Нарышкина, Сергиевская, 29, — в Эрмитаж, 3 подводы и 4 рабочих».

«От Горчакова, Фонтанка, 18, — в Эрмитаж, 3 подводы и 4 рабочих».

«Из дома Фаберже, Морская, 24, — в Эрмитаж, 2 подводы».

«Эрмитаж у нас увеличился в полтора раза», — сказал Луначарский, выступая 26 сентября 1920 года с докладом о деятельности Наркомпроса на III сессии ВЦИК седьмого созыва. Говоря о проделанной работе по сбережению художественно-исторических сокровищ советского народа, он остро поставил вопрос о необходимости материально обеспечить обслуживающий персонал музеев. Вопрос этот давно его тревожил; еще весной он писал Ленину:

«Дорогой Владимир Ильич,

Обращаюсь к Вам с одной просьбой, которая имеет несомненно огромное государственное значение. Дело в том, что одной из сторон деятельности Наркомпроса, которой он вправе до некоторой степени гордиться, является охрана гигантского даже по материальной своей ценности имущества в музеях, дворцах, церквях, признанных источниками памяти, и т. п. <...>

Почти при всех дворцах-музеях и при всех старых музеях имеются старые служащие, оставшиеся при них по несколько десятков лет, в своем роде глубокие специалисты и люди, заслуживающие огромного доверия. Заменить их новыми лицами (а теперь вообще трудно найти рабочую силу) положительно невозможно. Между тем служащие музеев в Москве и Петрограде разбегаются, уходят в деревню. <...>

Если дело это пойдет так дальше, то в скором времени мы оставим совершенно незащищенным фронт этого многомиллиардного имущества, культурная ценность которого никакими, даже астрономическими цифрами не может быть определена. <...>».

Следствием этого письма и явились, вероятно, бесплатные «трудовые обеды», которые с весны двадцатого года стали выдавать всем служащим Эрмитажа — и научному персоналу, и научно-техническим сотрудникам, и галерейным служителям; некоторые эрмитажные ученые получали теперь дополнительные продуктовые пайки и по линии ПетроКУБУ. Но накануне новой зимы с ее неизбежными трудностями нарком Луначарский опять затронул тот же вопрос на сессии ВЦИК.

«За это время мы насобирали гигантское количество ценностей... Но вместе с тем я должен сказать, что нам необходимо обеспечить ударным пайком лиц, занятых охраной памятников искусства. Таких лиц насчитывается не больше 600. Если мы этого сейчас не сделаем, то мы потеряем неоценимые сокровища... Человек неопытный не может устоять перед таким искушением, когда сейчас ему представляется <возможность> запустить руку и безнаказанно взять на десятки миллионов, в то время как музейным специалистам это в голову не приходит. Им не приходит в голову такая возможность. Эти люди хранят так, как хранят свое приобретенное, и такие люди, они в высшей степени честные...»

...О том, что Луначарский беспокоится насчет пайков для музейев, в Эрмитаже прослышали от Ятманова. Дай-то бог! — авось хлопоты наркома увенчаются успехом: предстоящая зима будет ненамного легче, чем прошлогодняя.

Летние месяцы эксперт Верещагин старался проводить в Детском Селе, в Павловске, в Гатчине, и манили туда Василия Андреевича не только заповедные парки и рощи, не только свежие овощи с огородов местных жителей и парное козье молоко, — в пригородных дворцах-музеях он трудится всегда с удовольствием, наглядно убеждаясь, что его помощь здесь очень нужна, что его советы не пропадают втуне. Большое удовлетворение доставили Василию Андреевичу слова Луначарского, сказанные притом не в личной беседе, не на узком ведомственном совещании, а во всеуслышание произнесенные в Москве, на сессии ВЦИК, которая происходила в нынешнем сентябре: «Иностранцы из буржуазии, когда видят нашу Гатчину и Детское Село, прихо-

дят прямо в изумление». Да, это так,— Василий Андреевич и сам не раз выслушивал лестные отзывы приезжих иностранцев.

В прошлом году он отдал много сил Александровскому дворцу в Царском, то бишь Детском Селе,— удалось восстановить до мелочей и парадные апартаменты, и интимные комнаты последнего императора, императрицы, цесаревича, великих княжон, и об этом, к его изумлению, Луначарский тогда же оповестил большевиков во всем мире, напечатал в журнале «Коммунистический Интернационал»: «Наши художники предложили оставить в совершенной неприкосновенности все жилище Николая II, как образец дурного вкуса,— так мы и сделали...» Говоря по чести, вкус императора с императрицей был не ахти какой, оспаривать это Василий Андреевич не склонен, и все-таки у него на сей предмет свое воззрение: жилище царей надлежит рассматривать не как иллюстрацию к истории эстетики, а прежде всего как памятник отечественной истории.

Летом двадцатого года Верещагин занимался преимущественно Гатчиной; осень стояла сухая, ясная, и в город он перебрался лишь в начале октября. Приехал и поспешил к Тройницкому, чтобы узнать из первых рук, каковы перспективы реэвакуации, будут ли вместе с эрмитажным имуществом возвращены и вещи, принадлежащие петербургским дворцам, и сразу ли, и полностью ли Зимний дворец перейдет в ведение Эрмитажа.

Расспрашивал он Тройницкого не из праздного любопытства — ведь Сергею Николаевичу известен его давний проект устройства «исторических комнат» в Зимнем дворце. Сейчас имеется прецедент — Царское Село, Александровский дворец. Он уверен, что власти не станут возражать, если в Зимнем, в пресловутом Дворце искусств, будут выделены мемориальные комнаты, которые сохранят для потомства *couleur local et couleur historique*¹ минувших царствований, ушедших эпох — от Николая Первого до Николая Второго.

— А рядышком,— усмехнулся Тройницкий,— рядышком Музей революции, рядышком Емельян Пугачев, Степан Халтурин, Софья Перовская...

Верещагин пожал плечами — ну что из того? Потом, помолчав, сказал:

¹ Местный колорит и исторический колорит (франц.).

— История объемлет всех. Была Мария Антуанетта и были Робеспьер с Маратом. Был и Емельян Пугачев, но мне, Сергей Николаевич, милее матушка Екатерина, и я весьма сожалею, что нам с вами не восстановит в дворце екатерининские покои, для истории навсегда утраченные¹.

Тройницкий положительно любовался Василием Андреевичем — не меняется ни внутренне, ни внешне; чисто выбрит, припудрен, свежий воротничок, — нестареющий Дориан Грей, только обшлага пообтрепались.

С далеких екатерининских времен, от времен очаковских и покоренья Крыма, опять перешли на злободневность — гражданская война, Крым, генерал Врангель. Оба они, и Верещагин и Тройницкий, долгое время были близки с младшим Врангелем, с Николенькой, а старшего брата, генерала, преемника Деникина, знали лишь понаслышке, по фотографии в рабочем кабинете Nicolá и теперь еще по аршинным карикатурам, расклеенным по всему городу. — «Кровавый Врангель, дух изгнанья, витал над крымскою землей», — процитировал Василий Андреевич запомнившиеся ему вирши под карикатурой, озаглавленной «Белогвардейский демон», и заметил, что страдает баронессе: каково ей ходить сейчас по Петербургу?! Однако эмоции баронессы Врангель мало занимали Тройницкого: «белогвардейский демон» отбросил красных в Донбасс, третьего дня форсировал Днепр — не отодвинет ли новое наступление Врангеля сроки эвакуации, и без того достаточно зыбкие; советско-финляндский мирный договор до сих пор не подписан, а на календаре уже 8 октября...



В ожесточенном сражении 14 октября соединения Красной Армии разбили ударную группу врангелевских войск, — этот бой командующий Южным фронтом М. В. Фрунзе назвал «началом крушения Врангеля». И того же 14 октября был заключен мир с Финляндией.

¹ В Зимнем дворце, как известно, интерьеры времен Екатерины II и Александра I уничтожил пожар в 1837 году. Что касается так называемых «исторических комнат», то после эвакуации Эрмитажа и перехода всего дворца в его управление в Зимнем были открыты для обозрения личные апартаменты Николая I, Александра II и Николая II. Впоследствии Государственный Эрмитаж использовал эти помещения для развешивания своих экспозиций.

Ждали, три года ждали, а когда дождались, когда реэвакуация стала вопросом не завтрашнего, а уже сегодняшнего дня, все, даже Тройницкий, которого редко покидало самообладание, испытали чувство растерянности, чуть ли не испуг; теперь, когда к реэвакуации надо было приступать практически, они, может быть впервые, реально представили себе, насколько сложна и насколько рискованна обратная перевозка эрмитажного имущества, затеваемая по их просьбе, по их же настояниям, по их же петициям.

Начать с железной дороги, с шестисот верст между Москвой и Петербургом. И Тройницкий, и Бенуа, и Мацулевич не раз ездили в Москву, вместе и порознь, ездили с относительными удобствами, и то извелили прелести теперешнего железнодорожного сообщения — поезд больше стоит, чем идет, останавливается на каждом полустанке, а то и просто в поле, чтобы загрузить тендер топливом, заготавливаемым тут же руками пассажиров в зеленеющей неподалеку рощице. Остовы товарных вагонов на запасных путях, проржавевшие локомотивы...

Железная дорога, разумеется, не забота Эрмитажа; допустим, Наркомпуть найдет для эрмитажных вещей пригодные выгоны в необходимом количестве, — что толку: московские музейщики, с которыми летом беседовал Мацулевич, в один голос утверждали, что сформировать железнодорожный состав куда легче, нежели раздобыть сейчас в Москве автомобильный транспорт, перевозочные средства, чтобы доставить вещи из Кремля на Каланчевскую площадь, на Николаевский вокзал. «Всероссийская коллегия по делам музеев, — доложил тогда Мацулевич Совету Эрмитажа, — ввиду острого затруднения в перевозочных средствах не берется в настоящий момент осуществить перевозку». А с лета, по сведениям Тройницкого, положение с грузовыми автомобилями в столице еще более ухудшилось. Допустим далее, чисто гипотетически, что вещи каким-то образом доставлены на вокзал, погружены в вагоны и благополучно покинули Москву. Но кому дано предугадать, что может случиться в пути с этим поездом, вобравшим все богатства Эрмитажа? Лопнула рельса, неправильно переведена стрелка, машинист не заметил опущенный семафор, — в Эрмитаже вспоминали разные железнодорожные катастрофы, столкновения поездов происходили

и в мирное время, вагоны сходили с рельсов, сваливались под откос, а от такой малости, как загоревшаяся будка, возникали пожары с ужасающими последствиями, с человеческими жертвами, материальными потерями. И последнее: вещи счастливо прибыли в Петроград — что тогда? — их не перевезешь в Эрмитаж на ерыкаловской подводе, хоть волоком тащи на Миллионную.

Мирный договор с Финляндией был ратифицирован Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом 23 октября, а через день Ятманов собрал у себя совещание по вопросам реэвакуации сокровищ Эрмитажа. Он не спорил ни с Тройницким, ни с Шмидтом, ни с Мацулевицем, когда они высказывали свои сомнения и страхи. — Верно, — кивал головой Ятманов. — Точно. — И вдруг взорвался: — Так что же, уважаемые, прикажете отбой бить? — Бить отбой эрмитажные тоже не хотели: ждали, три года ждали, и вот те на — отбой! Однако опасения закономерны, они должны быть понятны комиссару, ибо ответственность, которая падает на лиц, осуществляющих перевозку, очень велика. — Верно, — подтверждал Ятманов, — точно. — А когда все выговорились, сказал:

— Поохали и хватит. Баста! Беру вожжи в свои руки.

Слова Ятманова, что робеть нечего, что все обойдется в наилучшем виде, Тройницкий воспринял как всегдашнюю «комиссарскую самоуверенность», но именно она, эта твердая уверенность комиссара, и успокоила эрмитажных, в том числе и Тройницкого. Вечером Ятманов уехал в Москву.

В эрмитажном протоколе записано:

«Л. А. Мацулевич сообщает по поводу реэвакуации, что вопрос только в окончательном согласии народного комиссара Луначарского, за которым и выехал в Москву Г. С. Ятманов».

Собираться в Москву стал и профессор Мацулевич — поездка Леонида Антоновича была предусмотрена Ятмановым на первом же совещании по реэвакуации. Ятманов задумал так: создаются две реэвакуационные «тройки», в каждой — представитель Эрмитажа и по два сотрудника Петроградской музейной коллегии:

одна «тройка», возглавляемая директором музея, подготавливает все в Петрограде, другая, которой руководит Мацулевич, заместитель директора, действует в столице, готовит эрмитажные вещи в обратный путь; условились, что канителиться Леонид Антонович не будет, выедет поскорее, лучше обождать некоторое время на месте, в Москве, чтобы, как только Луначарский даст свое благословение, тут же, буквально на следующий день, приступить к работам.

Поехал Мацулевич с целой дружиной. «Для предварительных работ,— засвидетельствовано в документе,— в Москву были командированы в помощь Л. А. Мацулевичу — М. В. Доброклонский, А. А. Зилотти и 6 галерейных служащих: <С. В.> Никулин, <И. Д.> Варакса, <В. С.> Воронцов, <В. Ф.> Филиппов, <Ф. А.> Нуждаев и <?> Богданов, а также помощник реставратора И. И. Васильев». Прихватили с собой немалый багаж — тюки с упаковочным материалом.

Ехали долго — шестьсот верст томительно растянулись до полутора суток, и те же приметы железнодорожной разрухи на каждой станции, на каждом полустанке.

В Москве, у выхода с перрона, комендантский патруль задержал галерейных служащих, всех шестерых, принял за мешочников-спекулянтов. Мацулевичу пришлось терпеливо растолковывать в военной комендатуре, для чего привезены в Москву эти вызвавшие подозрения громоздкие тюки.

Оставив своих спутников на вокзале, Мацулевич поспешил в Музейный отдел, чтобы разузнать, где он может сейчас найти комиссара Ятманова. Ему сказали, что Ятманов заходил ежедневно, но вчера отбыл в Петроград — на празднование третьей годовщины Октябрьской революции.

— Перед отъездом комиссар закинул для вас какой-то пакет...



Всю неделю в Петрограде не было от Ятманова ни слова, и потому, когда неделя минула, Тройницкий дважды в день стал наведываться во Дворец искусств, в канцелярию комиссара по делам музеев, — может быть, здесь имеются какие-нибудь новости? Заглянул он сюда и утром 5 ноября — новость ргита, Ятманов у себя в кабинете, только что прикатил, прямо с поезда.

— Ну-с, Григорий Степанович,— даже не поздоровавшись спросил Тройницкий,— со щитом или на щите?

Ятманов загадочно улыбнулся, достал из кармана кисет, в котором обычно держал махорку, из кисета вынул круглый резиновый штампель на деревянной ручке и, подышав на резину, прижал печать к листу чистой бумаги; убедившись, что оттиск вышел четкий, он, все так же молча, протянул листок Тройницкому.

О-о! — государственный герб РСФСР, а вокруг — «Штаб Чрезвычайного Уполномоченного ВЦИК по реэвакуации петроградских музеев». — Импозиционно,— признал Тройницкий. — С вашего разрешения, товарищ чрезвычайный уполномоченный, оставляю себе на память.

Перевозка, принялся рассказывать Ятманов, влетит в копейку, он уже затребовал аванс — полтора миллиона; то, что эрмитажные служащие отправились с Мациулевичем в Москву — это хорошо, все инструкции он оставил, сидеть без дела не будут.

— Теперь о главном.

Ятманов показал Тройницкому копию предписания, которое при нем составил Анатолий Васильевич Луначарский и которое от имени НКПС направлено начальнику Николаевской железной дороги:

«Предлагаю в порядке боевого приказа организовать экстренный поезд в потребном количестве вагонов исключительного пробега и охраны для реэвакуации из Москвы коллекций Эрмитажа и дворцов».

Со специальным поездом будет полный порядок, а с автомобилями, вздохнул Ятманов, дело швах; грузовиков пока нет, однако в решении этого вопроса он сильно надеется на одного военного товарища, с которым встретится в Москве после Октябрьского праздника,— вот вкратце и все, о чем он просит Тройницкого информировать Совет Эрмитажа.

В протоколе 9 ноября записано:

«Председатель сообщает о своей беседе с вернувшимся из Москвы Г. С. Ятмановым, который получил разрешение на перевоз из Москвы эрмитажного и дворцового имущества и назначен главным уполномоченным по реэвакуации... Сильное затруднение представляет транспорт, который в Москве очень расстроен. Завтра Г. С. Ятманов снова уезжает в Москву».

Три дня у Мацулевича пропали даром. Пакет, оставленный для него Ятмановым, засунули в Музейном отделе неизвестно куда и никак не могли найти. Надо было устроить ночлег и питание людям, уставшим с дороги и уже несколько часов ожидающим его на вокзале, но в ведомстве Троцкой, к кому бы он ни обращался за содействием, все увильвали от ответа под одним и тем же предлогом: у них в отделе установлен железный порядок — есть зав, Троцкая, она и решает. А Троцкая разъяснила Леониду Антоновичу — популярно, как пригостишке, — что Музейная коллегия ведает музеями, только музеями, но не общежитиями для приезжающих. «Ввиду того, что Московская коллегия отказала в помещении для командированных, — указано в итоговом докладе Л. А. Мацулевича, — пришлось потратить много времени в поисках такового; оно было дано Московской секцией Академии Истории Материальной Культуры, но оказалось лишенным отопления и освещения, которые пришлось оборудовать своими силами». Первую ночь спали на полу, не раздеваясь, подложив под голову вещиные мешки; на следующий день галерейные служители походили по ближайшей округе, порасспросили здешних жителей и вернулись с досками, из которых сколотили топчаны; притащили и печурку, достали две керосиновые лампы.

Пакет с инструкциями Ятманова обнаружился утром 8 ноября — он лежал на самом виду, возле чернильного прибора делопроизводителя, под пресс-папье. Отдельная инструкция по вещам в Большом Кремлевском дворце, отдельная — по Оружейной палате, отдельная — по Историческому музею. Прежде всего, наставлял Ятманов, следует заняться разбором и сортировкой ящиков, хранящихся во дворце; работа там наиболее трудоемкая, для ее исполнения потребуется двадцать, а то и тридцать грузчиков. Выхода у Мацулевича не было — без помощи Музейного отдела ему все-таки не обойтись.

Троцкая приняла Леонида Антоновича так же сухо, как и три дня назад, отослала его к одному подчиненному, затем к другому, те — обратно к Троцкой. — К сожалению, ничем помочь не могу, — отрезала Троцкая, выпроваживая назойливого посетителя. — Музейная коллегия, в конце концов, не Биржа труда.

(Троцкая вела двойную игру.

Как помнит читатель, Анатолий Васильевич Луначарский, прежде чем ответить Владимиру Ильичу Ленину, запросившему его мнение относительно возвращения в Петроград сокровищ Эрмитажа и Русского музея, нашел нужным сперва посоветоваться с некоторыми из своих сотрудников. Добавим, что советовался Луначарский с двумя ответственными работниками Наркомпроса, ведавшими музеями, и их имена упоминает в адресованном Ленину письме: «По этому поводу я имел уже беседу с товарищами Троцкой и Ятмановым». Троцкая, как видно из этого письма, высказалась за возвращение художественных ценностей в Петроград. «Принципиально мы не только не возражаем против этого возвращения, — написал тогда Луначарский Ленину, — но очень охотно пойдем ему навстречу».

Поддакивая Луначарскому, выставляя себя поборницей «скорейшего возрождения музейной жизни Петрограда», Троцкая, однако, не отказалась от мысли оставить петроградские сокровища у себя, в музеях возглавляемого ею ведомства. Даже после того как в июне Совнарком вынес решение о реэвакуации Эрмитажа, а в октябре Луначарский распорядился приступить к обратной перевозке эрмитажных вещей, Троцкая да и кое-кто из московских музейщиков, работавших под ее началом, пытались реэвакуацию притормозить, задержать, застопорить. Отсюда и недружелюбие, высказанное профессору Мацулевичу, прямая неприязнь к представителю Эрмитажа со стороны Троцкой, ее подчиненных, ближайшего ее окружения. «Уступая коллекции Петербургу, они отказывались содействовать в предоставлении транспорта и рабочей силы, — указывает Л. А. Мацулевич в итоговом докладе эрмитажному Совету. — При таких условиях перевозка действительно вряд ли могла осуществиться...»)

Настроение у Мацулевича было прескверное. Он еще раз перечел оставленные ему инструкции. Каждую из них Ятманов скрепил гербовой печатью Штаба чрезвычайного уполномоченного ВЦИК по реэвакуации, но Леонид Антонович уже догадался, что весь штаб, по видимому, состоит из одного Ятманова, — глупо, что разминулись. Он попробовал позвонить Грабарю — Игорь Эммануилович, как уверял Бенуа, не откажет в добром совете, — и опять невезенье: Грабарь на этюдах где-то в Подмосковье. Вернется Грабарь не раньше пятницы, а сегодня лишь понедельник. Полистав записную книжку, Леонид Антонович нашел другой телефон, данный ему Джемсом Альфредовичем Шмидтом: по словам Шмидта, в прошлом году, когда эрмитажные производили в Москве контрольные вскрытия, им очень помог

весьма почтенный партнец, имевший непосредственное отношение к кремлевским хранилищам. Бог ты мой, та же фамилия — Ольминский — значит и у Ятманова в его инструкциях.

Осенью двадцатого года Михаил Степанович Ольминский, помимо прочих занимаемых им должностей, являлся еще и смотрителем, иначе говоря — главным хранителем Большого Кремлевского дворца. Звонко эрмитажного профессора не был для Ольминского неожиданным — о предстоящей реэвакуации петроградских вещей, сказал он Мацулевичу, ему уже известно и от Луначарского, и от Бонч-Бруевича, и от чрезвычайного уполномоченного по этому вопросу комиссара Ятманова. Ольминский выразил сожаление, что ему сегодня не удастся свидеться с товарищами из Петрограда — у него совещание в Истпарте, но комендант Кремля имеет распоряжение оформить свободный допуск в Большой дворец и в Оружейную палату сотрудникам петроградского Эрмитажа.

— Милости просим, приходите когда вам угодно, хоть сейчас.

Не мешкая, Леонид Антонович съездил за своими. Все мы крепки задним умом: как же он не сообразил разузнать у Ольминского, найдутся ли во дворце десятка два рабочих в подмогу эрмитажным служителям...

Все это они знали заранее: в Москве предстоит расфасовать и перетасать на подъезды многие сотни тяжеленнейших, многопудовых ящиков; знали они также — по красочным описаниям Шмидта, — как беспорядочно сложены вещи, перенесенные два года назад из одной части Большого Кремлевского дворца в другую, из парадной части в служебную; однако, войдя в «помещение Должностей», где была сосредоточена большая часть эрмитажных ящиков, Леонид Антонович, откровенно говоря, струхнул: Гималаи, Анды, Кордильеры! Озадачены и галерейные служители — на верхотуру не забраться!¹

¹ В отчете «Эрмитаж за десять лет», в разделе «Реэвакуация» отмечено:

«Одной из сложных и физически трудных работ в Москве было нахождение и выделение подлежащих реэвакуации ящиков. За годы хранения их в Большом Кремлевском дворце они были перемещены и смешаны с тысячами других ящиков, свезенных в Москву со

— Так как же, братцы? — в замешательстве произнес Мацулевич. Он сказал без утайки, что твердого мнения у него нет: может, вновь опечатать двери и завтра потолковать со смотрителем дворца, где и как раздобыть рабочих, или переждать еще день-другой — не навсегда же уехал комиссар Ятманов. — Так как же, братцы, — повторил Мацулевич, — на чем порешим?

Галерейные отошли в сторонку, поговорили вполголоса между собой — у них полное согласие.

— Значит, вот как, Леонид Антонович. Приниматься за дело лучше с ходу, а сыщется подмога — отказываться не станем, скажем спасибо.

«К работам по разбору, сортировке и перенесению ящиков удалось приступить 8-го ноября, — указывает в итоговом докладе Л. А. Мацулевич. — Вся тяжесть этой работы легла на плечи эрмитажных служащих, проявлявших такую самоотверженность, горячее воодушевление и готовность довести работу до конца, которые поистине являются беспримерными». «Силами главным образом шести человек удалось разгрузить и рассортировать нагроможденные до потолка в Большом Кремлевском дворце и в Оружейной палате ящики, причем были разобраны и пересмотрены тысячи ящиков...»

Ящики к подъездам перевозили на тележке — ее соорудил служитель Большого Кремлевского дворца, слывший мастером на все руки. «Следует отметить услугу одного из московских служащих Ивана Новикова, который быстро сделал примитивную деревянную тележку и затем ее несколько усовершенствовал и тем самым дал возможность ускорить темп работы»¹. Вся работа заняла около четырех суток. «К часу дня 12-го ноября 755 ящиков Эрмитажа, намеченных первоначально к перевозке в 1-ю очередь, были отобраны и перевезены на подъезд».

Если Ятманов, вернувшись в Москву, не направился сразу же в Кремль, то только потому, что на весь

всех сторон России во время мировой войны и за время деятельности Временного правительства. Ящиками были буквально забиты от пола до потолка многочисленные служебные помещения дворца. Многие из ящиков были значительных размеров и весили десятки пудов, а некоторые превосходили даже сотни пудов.

¹ Помогали при эвакуации эрмитажного имущества и некоторые другие дворцовые служители — их имена в документах не упомянуты.

день застрял в Народном комиссариате путей сообщения. Он не без основания говорил Тройницкому о некоем военном товарище, на содействие которого сильно надеется,— в Наркомпути он встретился именно с этим товарищем, и разговор у них был не трехминутный. Потом, уже под вечер, оба поехали в Кремль.

В вестибюле Главного подъезда Большого Кремлевского дворца аккуратные штабеля ящиков с шифрами Эрмитажа. Отдельно стоят ящики с предостерегающими надписями: «Не кувыркать!», «Осторожно!».

Ятманов глядел на этот готовый к транспортировке эрмитажный груз и отказывался верить, что вся работа проделана не артелью в двадцать — тридцать человек, как он намечал в оставленной Мацулевичу инструкции, а горсткой эрмитажных, шесть галерейными служителями. Но спустившийся в вестибюль Михаил Степанович Ольминский самолично удостоверил, что это так, что петроградцы работали не зная усталости, что он восхищен трудовым героизмом петроградцев.

Приехавший с Ятмановым военный держался в стороне. Он лишь единожды осведомился у Мацулевича, каков общий вес и кубатура груза. — Аржанов, — представился при этом военный. Его фамилию Мацулевич пропустил тогда мимо ушей, но пройдет десять дней, и, докладывая эрмитажному Совету об успешно проведенной реэвакуации, тот же профессор Мацулевич почтет себя обязанным заявить, что в историю Эрмитажа должно быть навсегда занесено имя Михаила Михайловича Аржанова, сыгравшего выдающуюся роль в блистательном осуществлении перевозок эрмитажного имущества и «оказавшего не только Эрмитажу, но и всей науке неоценимую услугу».



В указателе имен, приложенном к 51-му тому Полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина, об инженере-железнодорожнике М. М. Аржанове (1873—1941) дана следующая справка:

«...С 1918 года на ответственных постах в системе НКПС. Активный участник гражданской войны — начальник Центрального управления военных сообщений Реввоенсовета Республики. Являлся членом Высшего совета по перевозкам (1921). С 1922 года — начальник снабжения РККА, с 1924 года — инспектор железнодорожных войск. В конце 1924 года снова занимал ответ-

ственные должности в НКПС». Постановлением ЦИК СССР М. М. Аржанов был удостоен звания Героя труда¹.

В биографической хронике «Владимир Ильич Ленин», выпускаемой Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, имя М. М. Аржанова впервые упоминается на страницах, относящихся к маю 1918 года: 4 мая Ленин знакомится с переданным ему Л. А. Фотиевой текстом телеграммы о положении, сложившемся в Мурманском крае, а также на Мурманской железной дороге; подписал телеграмму и помощник начальника дороги Аржанов. Позже, когда М. М. Аржанова вызывают в Москву и поручают руководство всеми военными сообщениями республики, его имя встречается в ряде ленинских документов, подтверждающих, что Владимир Ильич видел в энергичном начальнике ЦУПВОСО переданного революции работника, на которого можно возлагать самые ответственные задания.

— Послать Аржанова.

Как известно, 2 февраля 1920 года В. И. Ленин председательствовал на заседании Совета обороны, выступил с докладом о положении на транспорте, составил проект постановления по этому вопросу; после заседания Ленин исправил и скрепил своей подписью протокол, а к принятому постановлению сделал приписку: «Обращаю сугубое внимание всех руководящих советских работников на эти решения. Положение с транспортом отчаянное. Для спасения нужны меры поистине героические и революционные»². На проекте постановления Совета обороны рукой Владимира Ильича написано: «+(8) Посылка Аржанова»³. В окончательной редакции этот пункт изложен так: «1. ...и) Командировать т. Аржанова в район железной дороги, обслуживающей Кавказский фронт, в качестве полномочного представителя Наркомпути и Наркомвоен в деле железнодорожного транспорта и военных сообщений...»⁴ (Аржанов направлялся Лениным для выполнения важнейшей в тот момент задачи — всеми средствами ускорить пе-

¹ Некоторые дополнительные сведения об М. М. Аржанове даны в указателе имен, приложенном к 40-му тому Полного собрания сочинений В. И. Ленина: начальником ЦУПВОСО (Центрального управления военных сообщений) Аржанов состоял с 1919 по 1922 год, а в последние годы жизни был членом научно-технического совета НКПС.

² Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 40, с. 344.

³ Там же, с. 343.

⁴ Ленинский сборник, XXIV, с. 65.

реброску войск; через два дня, 4 февраля, Ленин телеграфирует Сталину: «...Аржанов посылается в Воронеж для ускорения необходимых перебросок. Просим оказать ему необходимое содействие...»¹. Еще через три дня, 7 февраля 1920 года, телеграмму от Ленина получает начальник Юго-Восточной железной дороги: «...Вы должны во что бы то ни стало сработаться с Аржановым»².

В том же году, в ноябре, когда встал вопрос, кто из путейцев способен наилучшим образом организовать транспортировку музейных ценностей из Москвы в Петроград, обеспечить сохранность и безопасность перевозимых по железной дороге эрмитажных сокровищ, на кого персонально возложить это задание государственной важности, ответ, можно сказать, был предreshен, он напрашивался сам собой:

— Поручить Аржанову.



У самого вокзала — на запасном пути — стоит синий служебный вагон, вдоль стенки которого размашисто выведено мелом: «Штаб Чрезвычайного Уполномоченного ВЦИК». Штаб Ятманова стал теперь взаправдашним штабом, штабом на колесах, походным штабом — со своей канцелярией, с полевым телефоном, с часовым у двери — стрелком железнодорожной охраны. А на соседних путях — пятнадцать порожних товарных вагонов (десять «пульманов», пять простых) и одна американская открытая платформа. Вагонов для эрмитажных вещей, считает и пересчитывает Ятманов, хватит с лихвой, останется достаточно места и для имущества других петроградских музеев; по части вагонов все благополучно, но грузовых автомобилей по-прежнему нет и нет, автомобильный транспорт, видать, такой крепкий орешек, который не по зубам даже начальнику ЦУПВОСО.

Возникшую у Ятманова идею — подвозить вещи к поездам на городском трамвае — Аржанов одобрил. — И все равно, — сказал он, — без грузовиков нам не обойтись. — Но когда Аржанов вслед за тем добавил, что по поводу автомобилей он собирается сегодня снова снестись с Питером, Григорий Степанович не мог сдер-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 51, с. 335.

² Там же, с. 131.

жать недоверчивой улыбки: в течение года и Ерыкалов, и Петроградская музейная коллегия перед кем только ни хлопотали о выделении хоть какого-нибудь завалыщего грузовичка — и все тщетно, все без результата¹.

Через час Аржанов позвонил Ятманову в штабной вагон:

— Автомобильный отряд, десять машин, прибудет из Питера завтра.

Ятманов ликовал — грузовники дали петроградские военные части, это Аржанов их убедил: дело сверхважное, реэвакуация Эрмитажа.

Десять автомобилей в Москву доставили железной дорогой, на открытых платформах; к составу была прицеплена теплушка — в ней разместились десять красноармейцев, шоферы из автороты².

Приехал из Петрограда комиссар Ерыкалов, приехала еще одна группа эрмитажных хранителей, не старики, а, как условился Ятманов с Тройницким, те, кто помоложе — Орбели, Верейский, Тревер, десять человек, кому нет и тридцати, кому чуть перевалило за тридцать. Подыскивать для них жилье не пришлось — поселились в штабном вагоне.

«Погрузка ящиков на автомобили началась в понедельник 15-го ноября в 12 ч. 45 мин. дня», — зафиксировано в документе. Работала теперь не горстка музейных служителей, а большая воинская команда. Автомобиль за автомобилем — грузовники с эрмитажными ящиками, накрытые брезентом, туго перевязанные веревками, отъезжали от Главного подъезда Большого Крем-

¹ Сохранился характерный документ, подписанный В. Ерыкаловым и относящийся к перевозкам разнообразного имущества на склады Музейного фонда:

«Ввиду того, что в распоряжении Отдела <художественных имуществ> для осуществления всех этих спешных перевозок имеется лишь одна подвода, наем же частных перевозочных средств, не говоря уже о страшной дороговизне, представляет почти непреодолимые трудности, Отдел ходатайствует о временном предоставлении в его распоряжение одного автомобиля».

Документ датирован мартом 1920 года, однако, как уже отмечалось, перевозки и в дальнейшем производились преимущественно на подводах.

² «С помощью М. М. Аржанова, — отмечает Л. А. Мацулевич в итоговом докладе, — удалось получить из Петербурга, ввиду полного отсутствия транспортных средств в Москве, десять грузовых автомобилей».

левского дворца и останавливались на Соборной площади у Грановитой палаты. Нагрузив шесть автомобилей, красноармейцы построились и ушли (они вернутся поздним вечером), а автомобили — шесть груженых и еще два порожних — на Соборной площади простояли до темноты, до ночи. «Перевозка производилась только в ночное время, — свидетельствует документ. — ...Для гарантии безопасности путь следования автомобилей от Кремля до Николаевского вокзала был огражден воинскими постами на всех перекрестках улиц, с оцеплением площадей и патрулированием вдоль Александровского сада». Сверх того военный комендант Москвы ввел на эти ночные часы строжайшую систему пропусков и паролей.

В ночь с 15 на 16 ноября, около полуночи, из Троицких ворот Кремля выехало восемь грузовых автомобилей — сперва четыре и затем, вскоре, еще четыре. Все шло в соответствии с заранее разработанной диспозицией:

«1. Погрузка коллекций петроградских музеев происходит в следующих пунктах: у Главного подъезда Большого Кремлевского дворца, у Главного подъезда Оружейной палаты и у главного входа Исторического музея — на 8 грузовых автомобилях.

2. Отправление грузовых автомобилей, после погрузки их, происходит 2 эшелонами по 4 грузовика в каждом, причем 1 грузовик остается свободным и сопровождает 3 нагруженных грузовика.

3. Эшелоны следуют с грузом от места погрузки на станцию железной дороги по маршруту, установленному Штабом чрезвычайного уполномоченного, с согласия Командующего войсками внутренней охраны Республики.

4. Грузовики должны идти все в одной непрерывной цепи (колонной) и в случае остановки одного из грузовиков все другие должны его дожидаться.

5. В случае порчи грузовика, имеющего груз, таковой перегружается на свободный, сопровождающий эшелон грузовик.

6. По прибытии эшелона на станцию сопровождающий эшелон свободный грузовик немедленно отправляется обратно для погрузки в указанный начальником эшелона пункт.

7. Каждый прибывший на станцию железной дороги с эшелонном грузовик, после его разгрузки, не дожидаясь остальных грузовиков, немедленно отправляется к месту погрузки...»

...В сторону вокзала военные шоферы ведут свои машины не спеша, потихоньку, оберегая ящики от чрезмерной тряски на разбитых московских мостовых,

щады драгоценный груз; зато на обратном пути, порожняком, навёрстывают упущенное время — летят, гонят, мчатся.

Освещены в Москве этой ночью несколько улиц и площадей — горят фонари и на Театральной и Лубянской площадях, и на Мясницкой улице горят фонари, освещена и Каланчевская площадь; всю ночь по освещённым, но безлюдным улицам то ползут, то мчатся петроградские грузовики, и всю ночь на тех же улицах искрят трамвайные бугеля, звенят-дребезжат-громяхают московские трудяги-трамваи — они тоже участвуют в реэвакуации Эрмитажа, они тоже перевозят эрмитажные вещи. «Для перевозки ящиков на вокзал, — подтверждает документ, — был прикомандирован значительный военный автомобильный отряд и предоставлено несколько трамвайных поездов». (Трамвайные линии пролегали в те годы поблизости от кремлевских ворот и от Исторического музея, — это позволяло быстро подвозить вещи к трамваю на грузовом автомобиле; другой грузовик совершал такие же короткие рейсы от трамвайной линии у Николаевского вокзала к железнодорожным вагонам на станционных путях.)

Эрмитажные хранители еще днем получили назначения — кто начальником автомобильного эшелона, кто сопровождающим закрепленного за ним грузовика или трамвайного поезда. «Сопровождающий трамвай или автомобиль, — гласила инструкция, — обязан: следить за сохранностью ящиков при перевозке на вокзал или на трамвай и сдать их под расписку заведующему погрузкой на вокзале или заведующему погрузкой на трамваях; следить за особо тщательным обращением с ящиками, снабженными надписями „Осторожно“, „Не кувыркать“»...

Окна штабного вагона светились на запасном пути — начальники эшелонов и хранители, сопровождавшие грузовики и трамвай, лишь на минутку забегали в штаб, чтобы сдать описи и акты, чтобы получить новые распоряжения: грузовикам под такими-то номерами возвращаться в Кремль к подъезду Оружейной палаты, трамвайному поезду под таким-то литером следовать к Историческому музею, ящики с шифрами Картинной галереи грузить в «пульман» номер такой-то...

Отправкой вещей на вокзал ведали профессор Мацулевич и — в качестве его секретаря — помощник хранителя Доброклонский. Принимали на вокзале вещи комиссар Ерыкалов и — в качестве его секретаря — про-

фессор Орбели; под их руководством и наблюдением воинская команда занималась погрузкой в вагоны музейных сокровищ. Инструкция гласила: «По заполнении вагона ящиками вагон закрывается, пломбируется пломбами Эрмитажа и железной дороги, ушки дверных задвижек и нижние ролики закручиваются 5-миллиметровой проволокою в три оборота, после чего вагон сдается под охрану и ответственность военного коменданта поезда».

Штаб жил и работал, как живет и работает штаб в пору боевой операции. — Трамвайный поезд в четыре тридцать отошел от Исторического музея, — телефонирует Доброклонский в штабной вагон Ятманову. По полемому телефону Орбели перечисляет профессору Мациулевичу номера грузовиков, в 5.05 прибывших на вокзал¹.



Рассвету, и подвоз вещей прекратился. Ятманов с Аржановым куда-то уехали, наказав всем отсыпаться — и хранителям, и шоферам, и красноармейцам из рабочих воинских команд. Следующая ночь обещает быть не менее напряженной.

Спать так спать. Орбели прилег на вагонной полке, накрылся пальто. Поспать нужно, необходимо, но еще не улеглось возбуждение минувшей ночи: закроет глаза — акты, шифры, описи. Сна нет — Орбели встал, вышел на пустую платформу. Зябко, а ночью он не замечал ни холода, ни ветра. Вдоль эрмитажного состава прохаживаются часовые. Он тоже походил: туда — обратно, туда — обратно. Вернулся в вагон, и снова — спать не спится, читать не читается, опять он ворочается с боку на бок. Одиннадцатый час утра... Нет, не заснуть.

Он предупредил Верейского, дежурившего по штабу, что идет в город — раз ему выписан пропуск в кремлевские хранилища, он им сегодня и воспользуется, осмотрит помещения, где столько времени пролежали в ящиках петроградские вещи.

¹ Биограф академика И. А. Орбели пишет:

«Принимая активное участие в эвакуации, мог ли Иосиф Абгарович думать, что через двадцать с небольшим лет под грохот бомбежки ему придется дни и ночи отправлять те же памятники на Восток, в Свердловск, а в 1945 году вновь ощутить острую радость от их возвращения?»

К Кремлю он пошел кратчайшим маршрутом, теми же улицами, по которым ночью курсировали грузовики и трамваи с вещами Эрмитажа.

Входя в Троицкие ворота и предъявляя пропуск караульным, Орбели вспомнил, как три года назад, в ноябре семнадцатого года, академик Смирнов, воспользовавшись, кажется, замешательством часовых, умудрился проскользнуть в Кремль; да, ровно три года назад, тоже в ноябре, незабвенный Яков Иванович добирался до Москвы безбилетным пассажиром, твердо убежденный, что найдет развалины на месте кремлевских святых и все достояние Эрмитажа безвозвратно погибшим.

В Большом Кремлевском дворце Орбели встретил и своих, эрмитажных, и москвичей — Грабаря, Эфроса. Все друг с другом изысканно любезны — Версаль!

Ящиков, дожидаящихся вывоза, не так уж много.

Возле Грановитой палаты стоят восемь грузовиков. Полдень — бьют кремлевские куранты.

Бьют куранты, и опять вспоминается Яков Иванович, его рассказ о князе Щербатове, директоре Исторического музея, о том, какие мрачные сентенции отпускал князь по поводу развороченных снарядом часов на Спасской башне — никогда больше кремлевских курантов нам не услышать, куранты онемели, Россия оглохла, время остановилось и еще что-то в подобном же роде. Полдень, над Кремлем звучит мелодия «Интернационала», — бывая часто в Москве, Орбели не раз слышал и прежде, как по-новому бьют куранты на Спасской башне, но сейчас их торжественный бой особенно гармонирует с его приподнятым настроением¹.

¹ Ремонт часов на Спасской башне был произведен летом 1918 года по инициативе В. И. Ленина. Ремонтировал часы слесарь Н. В. Беренс, с которым предварительно беседовал Владимир Ильич, а мелодию «Интернационала» и похоронного марша («Вы жертвою пали в борьбе роковой») переложил для колокольной музыки М. М. Черемных, впоследствии известный советский художник. На исходе лета, к удовольствию Владимира Ильича, ремонт был закончен, и 18 августа 1918 года Бюро печати ВЦИК в своем бюллетене телеграфно информировало прессу всей страны:

«В Москве „Интернационал“ со стен
Кремлевской башни.

Местному простому рабочему удалось приспособить механизм курантов-часов, возвышающихся над Кремлевской стеной и в известные промежутки времени исполнявших колокольным звоном «Коль славы» и царский гимн, к исполнению часами вместо реакционных гимнов песен революции: «Вы жертвою пали» — к 6 часам утра и «Интернационал» — к 12 часам. Те же песни повторяются

На обратном пути Орбели остановился у входа в Исторический музей. По ту сторону площади — Василий Блаженный, справа — зубчатые стены Кремля, над зданием Судебных установлений развевается красный флаг. А к кирпичной стене Исторического музея, должно быть недавно, прикреплен деревянный барельеф с вырезанными на нем словами: «Уважение к древности есть несомненно один из признаков истинного просвещения»¹.

К вечеру 16 ноября петроградские художественные ценности, хранившиеся в Москве, были официально переданы эрмитажным ученым, делегатам Петрограда.

«Мы, нижеподписавшиеся члены Московской коллегии по делам музеев И. Э. Грабарь и А. М. Эфрос, представитель Чрезвычайного уполномоченного при В. Ц. И. К. по эвакуации художественно-исторических ценностей из Москвы в Петербург — заместитель директора Эрмитажа Л. А. Мацулевич, Смотритель Большого Кремлевского дворца М. С. Ольминский и представитель Рабочекрестьянской инспекции М. Г. Мандельцвейг, присутствовали 15 и 16 ноября 1920 г. при передаче Штабу по эвакуации ящиков, баулов и пакетов Эрмитажа, Зимнего Дворца, Придворно-конюшенной части, Царскосельских и Петергофских дворцов-музеев...

1. Несмотря на то, что хранившиеся в Большом Кремлевском дворце ящики, баулы и пакеты Эрмитажа, Зимнего Дворца, Царскосельских и других дворцов 16 ноября 1918 г. были переброшены воинскими частями с Собственной половины в помещение Должностей, а также на Благовещенский подъезд, где вви-

в 3 часа дня и в 6 часов вечера. Имя этого товарища будет скоро опубликовано. Особенно четко слышны гимны со стороны Замоскворечья, где они производят особенно большое впечатление на слушателей. Предполагается приспособить куранты к игре указанных гимнов и ночью, когда они, не заглушаемые движением, далеко разносятся над Москвой.

¹ В соответствии с ленинским планом монументальной пропаганды доски с цитатами из сочинений выдающихся писателей и революционных мыслителей появились тогда на фасадах многих общественных зданий Москвы.

ду тесноты помещения местами были нагромождены до потолка, причем степень бережности, соблюдавшейся при переброске, не может быть установлена,—внешних признаков повреждения ящиков... или следов попыток вскрытия не обнаружено, ввиду чего Комиссия признала возможным принять означенные ящики, баулы и пакеты без вскрытия для проверки сохранности содержимого, с тем, чтобы таковая была произведена на месте при распаковке...»¹

Как и вчера, восемь грузовиков—четыре и четыре—выехали около полуночи из Троицких ворот; как и вчера, освещены улицы, ведущие к вокзалу; как и вчера—оцепление, пропуска, пароли. Но на этот раз еще стояла глубокая ночь, когда красноармейские наряды разошлись по казармам, а уличные фонари погасли. «Благодаря значительному количеству перевозочных средств и рабочих рук,—указано в отчете,—погрузка и перевозка шла непрерывным потоком и была полностью осуществлена в течение полутора ночей. Она была начата в ночь на 16 ноября, а 17-го в 8 утра была закончена уже погрузка поездов».

Последними из Большого Кремлевского дворца увозили ящики, которые, как сказано в отчете, «кроме значительных размеров имели очень большой вес—особенно ящики с двойными стенками, с мраморной скульптурой». И тут-то всех удивил Ятманов, сам взявшийся за это дело: у него есть опыт—в молодости, работая у подрядчиков по росписи храмов, повидал он всякого рода хитрые приспособления, с помощью которых поднимали многопудовые колокола на высоченные колокольни. «Погрузка самых тяжелых вещей, а именно гудоновских статуй „Дианы“ и „Вольтера“,—отметил Л. А. Мацулевич в итоговом докладе,—была выполнена исключительно благодаря энергии Г. С. Ятманова, устроившего для их передвижения воздушную железную дорогу с площадки лестницы Большого Кремлевского дворца прямо на автомобили». Перегружать эти ящики в вагоны не стали—автомобили со скульптурами установили на открытых железнодорожных платфор-

¹ Далее в акте перечисляется количество «упакованных мест», возвращаемых в Эрмитаж и в петроградские дворцы-музеи. Аналогичные акты были составлены в Оружейной палате и в Историческом музее.

мах и проверили, насколько тщательно они прикрыты брезентом.

Погрузка завершена. Подошел маневренный паровоз. Из десяти «пульманов», пяти обычных товарных вагонов, одной открытой американской платформы да еще из платформ с петроградскими грузовиками и нескольких вагонов служебного назначения были сформированы два состава — так приказал начальник ЦУПВОСО.

Военная охрана заняла свои места на тормозных площадках.

Короткий свисток локомотива.

Лязгнули буфера.

Впереди шестьсот верст до Петрограда.

Накануне, 16 ноября, Фрунзе телеграфировал Ленину:

«Сегодня нашей конницей занята Керчь. Южный фронт ликвидирован»¹.

Конец гражданской войне! — еще предстояло ликвидировать отдельные очаги внешней и внутренней контрреволюции в некоторых других районах страны, но в основном большая война к 17 ноября 1920 года закончилась.

Сокровища Эрмитажа, разумеется, могли быть эвакуированы в Петроград неделей раньше или месяцем позже, это, по сути, ничего не меняло, и все-таки знаменательно совпадение дат: в день, когда закончилась гражданская война, эрмитажные сокровища поехали домой.

...Впереди шестьсот верст до Петрограда. «Перевозка по железной дороге была осуществлена двумя поездами. Первый вышел из Москвы 17 ноября в 10 часов 55 минут, второй вслед за ним».

Счастливого пути!

17

За судьбой петербургского Эрмитажа, как и прежде, с пристальным вниманием следили доброжелате-

¹ Полный разгром врагелевских войск был предопределен героическим штурмом Перекопа в ночь с 7 на 8 ноября 1920 года; спустя неделю Красная Армия освободила Севастополь и Феодосию, а на следующий день после взятия Керчи, 17 ноября, части Красной Армии вступили в Ялту и тем самым очистили весь Крым от белогвардейцев и интервентов.

ли и недоброжелатели в европейских столицах. «Европа не вполне еще освоилась с мыслью, что Эрмитаж сейчас в такой же сохранности, как и во времена самого глубокого мира,— писала позднее газета «Berliner Tageblatt». — Многие не могут свыкнуться с этим фактом, многие не считают его возможным». Но с фактами тем не менее приходилось считаться, и свое подробное описание ожившего в Петрограде музея берлинская газета начинала с восторженного рассказа о возвращении Эрмитажа в Петербург, которое, по выражению ее корреспондента, «совершалось с царственным церемониалом»:

«...Ряды войск до Николаевского вокзала, два бесконечных товарных поезда, идущий впереди пустой состав, пулеметы на подножках; все движение от Москвы до Петербурга остановилось на время перевозки, длившейся немного более суток. Не пропали ни один ящик, ни одна шкатулка».

Пустой, или, иначе говоря, «контрольный» поезд в документах нигде не упомянут; возможно, корреспондент «Berliner Tageblatt» имел в виду специальный поезд начальника ЦУПВОСО М. М. Аржанова, следовавший вместе с эрмитажными эшелонами. «Несмотря на затруднительные для железнодорожного транспорта годы,— говорится в отчете «Эрмитаж за десять лет»,— перевозка была обставлена исключительными техническими гарантиями, постоянным наблюдением в пути, чрезвычайными противопожарными мероприятиями и усиленной охраной. Специальный поезд Начальника Военных Сообщений Республики сопровождал транспорт».



Вышли эшелоны из Москвы в среду 17 ноября, и об их продвижении Эрмитаж извещался краткими телефонограммами: в среду днем Мацулевич позвонил из Твери, ночью — из Бологого... Полпути пройдено, Бологое — это ровно полпути; завтра, в четверг, эшелоны будут в Петрограде.

Рано утром Тройницкий еще раз обошел залы — прибранные, протопленные, как бы дремлющие в ожидании. Неэвакуированный Зевс, кажется, тоже дремлет на своем каменном троне — зал Зевса отведен для распаковки ящиков Картинной галереи; в Ламотовом павильоне распакует вещи Средневекового отделения, в лоджиях Рафаэля — резные камни...

В десять с минутами была получена телефонограмма из Малой Вишеры — до Петрограда полтораста верст. Рассчитав, что времени у него предостаточно, Тройницкий решил поглядеть, что делается на вокзале.

Грузовой двор уже оцеплен, но директора Эрмитажа тотчас же пропустили. Железнодорожник в весьма высоких чинах — комиссар Николаевской дороги — показал ему приспособления, устроенные для того, чтобы быстро перемещать тяжелые ящики из вагона на автомобили и вести разгрузку нескольких вагонов одновременно.

— Автомобилей будет вдоволь, — заверил комиссар. — Есть распоряжение товарища Аржанова.

Кто-то из железнодорожных служащих доложил комиссару, что оба состава проследовали через станцию Любань. Тройницкий торопливо распрощался — ему пора в Эрмитаж, по утвержденному распорядку он встречает вещи на Миллионной.

В Эрмитаже его ожидали две телефонограммы: старевшая — из Любани, и другая, только что переданная из Тосно. Осталось пятьдесят верст, всего-навсего пятьдесят — Колпино, Славянка, Обухово...

Первый поезд прибыл в Петроград 18 ноября, в 17 часов. С вокзала Мацулевич позвонил в Эрмитаж: — Приехали!



Сколько бы ни твердили Алексею Алексеевичу Счастневу, что раньше ночи вещи со станции возить не будут, ничего с собой он поделать не мог: повернется в канцелярши, повернется в вестибюле, и шмыг в дверь — на Миллионную; стоит у эрмитажных атлантов и вглядывается в темноту Дворцовой площади — вдруг грузовики подойдут до срока.

До срока не подойдут, и ведь знаешь ты, Алексей Алексеевич, седой дуралей, что зря торчишь у подъезда.

Может быть, и зря, да не уйти.

Три года прождал, а теперь невтерпеж.

Холодина, как бы не простыть...

Три года с лишкбм.

Увозил-то вещи Яков Иванович, а обратно привезти не довелось... И Марков Алексей Константинович, сверстничек по службе в Эрмитаже, тоже вот помер, преставился, трех месяцев всего только-то и не дожид до радости, до возвращения вещей...

Воистину радость...

Превеликая радость...

Три года с лишкбм. Поголодал, похолодал — того стоило: привезут сейчас вещи со станции — где Счастнев? где Алексей Алексеевич? — здесь Счастнев, вот он, на месте.

...Топчется у эрмитажных атлантов вахтер Счастнев, вглядывается в темноту.

А грузовиков не видеть.



В половине десятого профессор Мацулевич сообщил с вокзала, что с минуты на минуту к Эрмитажу направится колонна из восьми грузовиков, и у подъезда на Миллионной включили все лампочки специально проведенного сюда электрического освещения. «Первый ящик, — говорится в отчете, — был внесен в Эрмитаж 18 ноября в 22 ч. 7 мин., и вслед за ним они входили через главный подъезд сплошной лавой».

Как и в Москве, грузовики сопровождали военная охрана и эрмитажные хранители. «Ясная звездная ночь, — записывает С. П. Яремич. — При быстрой езде ветер опалает лицо. Бешеная езда грузовиков...» Грузовиков намного больше, чем в Москве. «Автомобили прибывали с невероятной быстротой. Их не успевали разгружать, иногда ждала очередь до 13 автомобилей».

Грузовики, те, которые путь в Петроград проделали на открытых железнодорожных платформах, своим ходом съехали на дебаркадер и — вместе с погруженными на них еще в Москве самыми тяжелыми ящиками — двинулись по ночному Невскому проспекту к Дворцовой площади.

«Вольтера» недолго продержали в эрмитажном вестибюле: его осторожно подняли на второй этаж и, не распаковывая — в дощатой таре, в ящике № 52 с двойными стенками, — установили на исцарапанном паркете возле его же постамента. Яремич взглянул на часы — ровно четыре.

«Работа команд была феерична, сказочна», — вспоминает очевидец. Скинув шинели, в мокрых от пота гимнастерках молодые курсанты, будущие краскомы, ладно и дружно перетаскивали ящики, да с такой сноровкой, словно они всю жизнь имели дело с музейными вещами. «Необходимую выдержку и размеренность в работе показали работавшие в Эрмитаже военные кур-

санты,—говорится в отчете.— Вся физически трудная и требующая особой осторожности, дабы не повредить толчком или сотрясеннем ценных коллекций, работа была выполнена в одну ночь».

Той ночью Аржанов свел знакомство со многими эрмитажными учеными.

— Товарищ из Москвы,— представлял его Ятманов.— Начальник ЦУПВОСО... Душа перевозки...

Военные грузовики продолжали ночные рейсы.

«Всего было доставлено 811 ящиков»,— фиксирует отчет. Последний ящик внесли в Эрмитаж в 7 часов 15 минут утра. «Рабочие команды и воинские части были распущены. На двери директором Эрмитажа была наложена печать. Ревэвакуация кончилась»¹.

В номере «Красной газеты», вышедшем 19 ноября 1920 года, рядом с материалом о полном разгроме Врангеля («наши части достигли на всем фронте южного побережья Крыма») напечатана заметка:

«Сегодня ночью на многочисленных грузовиках в сопровождении военной охраны с Николаевского вокзала в Петроградский Эрмитаж были доставлены исторические и художественные ценности, эвакуированные в период последней империалистической войны в Москву...»

Газета извещала петроградцев:

«О прибытии эрмитажных сокровищ даны сообщения по радио во все культурные центры мира».

18

При распаковке ящиков присутствовали представители Петроградской рабоче-крестьянской инспекции. Ящик Картинной галереи, значившийся под № 1, был вскрыт 23 ноября.

...Гвидо Рени — «Отцы церкви рассуждают о бессенном зачатии»...²

¹ «Исключительно благоприятные условия перевозки, — говорится в итоговом докладе профессора Л. А. Мацулевича, — дали возможность перевезти значительно большее количество ящиков, чем предполагалось первоначально». (Помимо имущества Эрмитажа были реэвакуированы и вещи петроградских дворцов-музеев.) «Работа шла с таким темпом, с такой точностью и бережным отношением к имуществу, что все доставлено на место в полной сохранности в промежуток времени всего около 4-х суток, считая от начала погрузки до водворения на место последнего ящика».

² В позднейших каталогах — «Спор отцов церкви о христианском догмате».

...Сальватор Роза — «Блудный сын»...

...Рембрандт ван Рейн — «Возвращение блудного сына в отцовский дом»...

Восемь шедевров!

«По вскрытию ящика оказалось, — записано в акте, — что все восемь картин в полной сохранности».

Ящик под № 1 был вскрыт 23 ноября, а четыре дня спустя, в конце недели, в субботу, Тройницкий уведомил Совет Эрмитажа, что «хранители Картицной галереи уже закончили устройство зала Рембрандта, для чего пришлось вскрыть 27 ящиков», что «служащие проявили огромное напряжение энергии, благодаря чему представляется возможность уже завтра, 28 ноября, показать этот зал публике». — Публики соберется много, — сказал Тройницкий, — пригласительные билеты разосланы широкому кругу лиц. — Под конец Тройницкий заметил, что ему, к сожалению, не пришла вовремя мысль издать типографским способом краткую меморию — страничку, две, три, — в которой излагалась бы в общих чертах продолжавшаяся три года одиссея эрмитажных вещей. — А как аккомпанировала бы такая памятка нашему завтрашнему торжеству...

Перебив Тройницкого, Орбели спросил:

— Когда я могу получить текст?

— К вечеру, — неуверенно ответил Тройницкий. — Надо же еще написать. Не раньше вечера.

— Стало быть, в моем распоряжении целая ночь.

Утром в воскресенье профессор Орбели притащил с 9-й линии Васильевского острова, из типографии Российской Академии наук, четыре пачки только что отпечатанных листков — две пачки уместились в заплечном мешке, а две пачки он нес в руках.

Открытое экстренное заседание Совета Эрмитажа началось в 12 часов дня. На площадке Советской лестницы, куда выходят и двери зала Рембрандта, собрались все эрмитажные и многочисленные гости. Говорили речи:

— Возвращение в полной сохранности коллекций Эрмитажа — великое и радостное событие не только для всего ученого мира России, но и для всех, кто любит искусство и науку...

— До возвращения эрмитажных вещей в Петроград, до этого момента, краеугольного в жизни музея, Эрмитаж жил только половинной жизнью...

— Все разработанные планы переустройства Эрми-

тажа могут быть проведены в жизнь только сейчас, по возвращении в Петербург эрмитажных собраний...

Говорили речи. «С. Н. Тройницкий,— указано в протоколе,— охарактеризовал огромное мировое значение факта возвращения в Петербург собраний Эрмитажа и отметил, что временно, дабы не лишать публику возможности поскорее увидеть картины, они помещаются на своих прежних местах, а затем уже будет произведена их перевеска в соответствии с требованиями, которые ставит жизнь и новые условия музейного строительства».

Затем двери зала Рембрандта отворили для публики. «Присутствующим,— указано в протоколе,— была роздана печатная памятная записка с кратким изложением истории эвакуации Эрмитажа»¹.



Теперь, когда «Даная», и «Флора», и «Святое семейство», и «Жертвоприношение Авраама», и портреты рембрандтовских стариков и старух вернулись в свой зал, зал Рембрандта, а эрмитажные реставраторы день за днем распаковывали в зале Зевса и в Шатровом зале другие шедевры Картинной галереи, вставляя их в прежние рамы и развешивая по прежним местам, теперь, когда реэвакуация кончилась и все эрмитажные сокровища вновь оказались сосредоточены в Эрмитаже, необычайно явственно ощутили музейные хранители, как возросла отныне мера их ответственности. Три года, пока коллекции находились в Москве, они беспокоились, нервничали, но рассудком, отрешившись от эмоций, трезвым рассудком они все-таки понимали, что там, в Кремле, кто-то оберегает петроградские сокровища, заботится, опекает; отныне же, с 19 ноября 1920 года, всю ответственность за дальнейшую судьбу каждой эрмитажной вещи, каждой «единицы хранения», приняли на себя они, хранители Государственного Эрмитажа;

¹ В протоколе заседания Совета Эрмитажа, состоявшегося на следующий день, 29 ноября, также упоминается памятная записка, розданная участникам торжественного открытия зала Рембрандта: «Председатель отмечает, что эта записка была спешно отпечатана в течение ночи благодаря трудам и энергии И. А. Орбели и К. В. Тревер». (К концу 1920 года И. А. Орбели обучил наборному делу ряд научных сотрудников Эрмитажа и РАИМКа, в том числе и Камиллу Васильевну Тревер. Их силами был набран, в частности, первый том «Известий Российской академии истории материальной культуры».)

отныне, входя в музейный зал, утром ли, днем ли, они будут прежде всего обращать тревожный взгляд на гигроскопы и на термометры.

В ноябре, после возвращения эрмитажных коллекций, электрическая станция Зимнего дворца, от которой зависело отопление музейных помещений, была передана в ведение Эрмитажа. Уголь, обещанный для электростанции, долго не доставляли, — поневоле, как и в прошлом году, довольствовались дровами. «В настоящее время отопление является минимальным, — констатирует документ, датированный декабром 1920 года, — но температура вполне достаточна для того, чтобы эрмитажным коллекциям не грозила опасность порчи от сырости». Дров на зиму должно было хватить — заснеженные поленицы тянулись от Зимней канавки до Дворцового моста, однако зачастую оказывалось, что некому перебрасывать дрова с набережной во двор Зимнего, к электростанции, к топкам. «По сообщению Л. А. Мацулевича, — записано в протоколе 29 ноября, — большое затруднение представляет недостаток грузчиков, почему, если потребуется, то придется, может быть, погружать дрова собственными силами».

Дело не новое, дело обычное, — к разгрузке и погрузке дров петроградцы привыкли.

...У легендарного комиссара времен гражданской войны Ларисы Михайловны Рейснер, которая, как уже знает читатель, в первые послеоктябрьские месяцы охраняла музейные ценности в революционном Питере, а затем ушла на фронт воевать с белогвардейцами, у Ларисы Рейснер, советского писателя, есть очерк, напечатанный в августе 1920 года на страницах «Красной газеты», рассказ о том, как, приехав в Петроград, она грузила дрова, участвовала в субботнике.

«Вдоль всей набережной грузят дрова. Огромные поленья берут из рук в руки и, отирая пот, под жарким солнцем, обвеянные певской серебряной прохладой, грузчики плетут нескончаемую цепь живого труда... Постепенно все движения становятся механическими. Мускулы рук, плеч и спины изобретают гениально простую систему, облегчающую и ускоряющую труд. От напряжения кровь поет и стучит в висках и мгновенно приспособливается ко всякой тяжести, ко всякому острому сучку, к лохмотьям отсыревшей, прогнившей коры... Последний час проходит как в угаре. Дерево кажется железом, кружится голова, дрожат руки, и все-таки дело идет непрерывно...»

Так, вероятно, грузили дрова и эрмитажные, став цепью, передавая поленья из рук в руки,— разве что вместо палящего августовского солнца дул холодный декабрьский ветер, разве что «субботники» у эрмитажных выпадали и на вторники, и на среды, и на четверги, на любой день недели, а то и на два дня, а то и на три. Из-за отсутствия грузчиков, докладывает Л. А. Мацулевич эрмитажному Совету 6 декабря, «электростанции пришлось бы работать с перерывом, если бы на помощь не пришли служащие Эрмитажа, своими силами погрузившие потребное количество дров и тем спасшие положение». «С. Н. Тройницкий сообщает,— указано в следующем протоколе,— что в работах по погрузке дров для электрической станции 10-го декабря произошел перерыв <из-за отсутствия грузчиков>, но служащие Эрмитажа по научной части и служители, снова энергично взявшись за работу, погрузили необходимое количество дров». «Председатель сообщает о том,— записано в протоколе 20 декабря,— что служащим Эрмитажа пришлось еще два раза грузить дрова для электрической станции, что было ими исполнено с полной готовностью».

Иногда эрмитажным помогали грузить дрова красноармейцы из воинской части, расквартированной по ту сторону Зимней канавки, в казармах бывшего Преображенского полка.

Зал Рембрандта был торжественно открыт 28 ноября, а торжественное открытие всей Картинной галереи решили приурочить к Новому году. До января времени немного, один только месяц,— срок для медлительного Эрмитажа необычайно короткий, но и Бенуа, и Шмидт, и Липгарт, и Яремич, и Верейский, и Доброклонский уверенно заявляли, что работа спорится: если ничего неожиданного не произойдет, развеска во всех двадцати двух залах будет закончена даже к рождеству.

В декабре свернули Первую эрмитажную выставку, доставившую весной 1919 года столько хлопот и столько радости,— теперь в парадные залы Седьмой запасной половины вселился Отдел прикладного искусства. Как и весной девятнадцатого года, Бенуа и Липгарт постояли вдвоем у «Распятия» Зурбарана — картину сейчас унесут в кладовую; придет пора, и Зурбаран,

поступивший из Мраморного дворца, и Джованни Спанья из собрания принца Ольденбургского, и Франческо Франчия из Аничкова дворца войдут в новую эрмитажную экспозицию, а пока что восстанавливается Картинная галерея в ее прежнем виде — зал за залом, зал за залом.

Работали с утра до ночи, не глядя на часы.

Газеты извещали:

«В воскресенье, 12 декабря, состоится закрытие Первой Эрмитажной выставки и открытие зал картин Нидерландской школы... Вход с набережной Невы».

А еще через неделю, в воскресенье 19 декабря, войдя с набережной Невы в Эрмитаж, в Картинную галерею, публика увидела во всем блеске и знаменитые Итальянские кабинеты¹. Сюда, в Итальянские кабинеты, на свои старые места, вернулись картины Рафаэля, Тициана, Джорджоне, Веронезе. («Посетителей было около 600 человек», — указано в отчете.)

После возвращения вещей из Москвы опять были введены в Эрмитаже круглосуточные дежурства научного персонала. Правда, дежурные обходили ночью лишь залы нижнего этажа; наверху же, в Картинной галерее, где с утра до темноты продолжались работы по развеске, входные двери на ночь опечатывались.

В ночь на 26 декабря, в 4 часа 15 минут, дежурный хранитель начал очередной обход. Привычный путь — в темноте, в безмолвии залов античного мира. Он дошел до зала Венеры Таврической и вдруг услышал какие-то странные звуки, повторяющиеся с короткими и все убыстряющимися интервалами. При тусклом свете ручного фонаря он с трудом рассмотрел на потолке расплзающееся мокрое пятно — с потолка тяжелые капли падали на мраморный пол. Наверху, над залом Венеры Таврической, на втором этаже — Итальянские кабинеты, и он бросился наверх, сорвал печать со входной двери второго этажа. Полы в Итальянских кабинетах затоплены водой, — должно быть, на чердаке что-то случилось с трубами отопительной системы — вода так и хлещет с чердака, разливается по ближним залам. «Тотчас было дано знать об этом директору и на электрическую станцию, — излагается в протоколе ночное происшествие. — В 5 часов пришел С. Н. Тройницкий и вызвал по телефону комиссара В. И. Ерыкалова и ре-

¹ Анфилада сравнительно небольших залов, расположенных параллельно большим «залам с просветами».

ставратора Н. А. Сидорова, а также <реставраторов> Н. Н. и С. Н. Сидоровых, И. И. Васильева и вахтера А. А. Счастлива, по прибытии которых было приступлено к спешной уборке картин из Итальянских кабинетов № VII, VIII, IX и X. За 45 минут все до единой картины силами всего в 6 человек были сняты и вынесены в соседние залы. Работать пришлось в абсолютной темноте из-за отсутствия света в верхнем этаже, с потолков лились потоки воды, полы были затоплены слоем воды до одного вершка глубины». На чердаке рабочие с электростанции, тоже стоя по щиколотку в воде, возились с прохудившейся трубой.

Когда аварию ликвидировали, все, кто был на месте, принялись удалять воду — сперва с чердака, потом из Итальянских кабинетов. «В помощь работающим были присоединены служители, явившиеся по наряду для дежурств в открытых для публики залах, где посты галерейных служителей заняли служащие по ученой части».

Авария произошла нешуточная, ее результаты могли бы быть ужасны — в дрожь кидало при мысли, что в Итальянских кабинетах висели десятки шедевров, жемчужин эрмитажного собрания; однако, как отмечает протокол, «последствия этой катастрофы оказались значительно меньшими, чем то могло показаться с первого взгляда. Подмоченными оказалось 47 картин, причем повреждения выразились, главным образом, в побелении лака, что совершенно легко восстанавливается петтенкофрированием...»¹

Слава богу, что хоть так. Но в Итальянских кабинетах вновь пусто, картины убраны, а до Нового года остается всего пять дней, — что скажет маг и волшебник Николай Александрович Сидоров? «Реставратор Сидоров, заведывающий развеской картин, берется выполнить восстановление Итальянских кабинетов к сроку, первоначально намеченному для открытия всей Картинной галереи, то есть ко 2-му января»².

¹ Петтенкофрирование — один из способов реставрирования произведений живописи, названный так по имени его изобретателя Петтенкофера.

² В самом деле, все 22 зала старой Картинной галереи были открыты в намеченный срок. Спустя два дня «Петроградская правда» поместила такое сообщение:

«2-го января состоялось открытие всех зал Картинной галереи Эрмитажа в том виде, в каком они были до эвакуации. В ближайшем будущем предполагается расширение эрмитажных собраний в помещении Дворца Искусств (бывш. Зимний), и именно вслед-

О причинах происшедшей аварии двух мнений быть не могло: отопительная система несколько лет бездействовала, трубы проржавели, их стенки утончились, не выдержали напора,— нет никакой уверенности, что сегодня или завтра не прорвет в другом месте. С той злополучной ночи, когда затопило Итальянские кабинеты, хранители стали совершать ночные обходы всего здания Эрмитажа. Они обходили теперь и нижний этаж, и залы Картинной галереи, поднимались и на чердаки — всюду ли, везде ли благополучно в Эрмитаже? Не только система отопления, но и сама электростанция, и проржавевшая кровля эрмитажных зданий, и все те же «просветы» и еще многое-многое другое нуждается в неотложном ремонте.

В Центральном государственном архиве РСФСР хранится письмо наркома просвещения А. В. Луначарского на имя его заместителя, ведавшего в наркомате административными вопросами:

«Конфиденциально тов. Литкенсу.

13 октября 1921 г.

Евграф Александрович.

Происходит вещь вопиющая. Вы помните, что тов. Ленин предложил постановление, согласно которому Наркомпросу вменялось в обязанность в 24 часа внести в Малый Совнарком затребование сумм, необходимых для экстренного ремонта Эрмитажа, с выражением своего рода порицания, что мы не приняли для этого шагов раньше. Тогда мы этого не сделали на основании Вашего мне заявления, что деньги фактически уже посланы и что никаких дополнительных ассигнований нам в данном случае не нужно. Между тем тов. Ятманов приехал сюда и опять заявляет, что ни копейки не получил. Если бы он пожелал довести это дело до сведения Владимира Ильича любым частным путем, то вышел бы настоящий скандал, и притом пол-

ствие этой реорганизации не удалось сейчас открыть таких отделений Эрмитажа, как скульптурное, археологическое и др.

В первый же день в Эрмитаже побывало 850 посетителей, что свидетельствует о том, что давно ожидавшееся открытие картинных галерей явилось действительно праздником для петроградцев...»

ностью заслуженный. Прошу Вас распорядиться немедленно выдать т. Ятманову наличными ту сумму денег, которая для этого ремонта окажется необходимой».

Письмо сердитое — да, Анатолий Васильевич был очень рассержен.

Экстренный ремонт предполагали в Эрмитаже произвести еще летом, и Петроградское отделение Главмузея своевременно обратилось в Наркомпрос с ходатайством об отпуске дензнаков «на самые неотложные работы, имеющие пожарный характер». Эрмитаж был уведомлен, что деньги отпущены, однако неделя шла за неделей, уходило лето — самая благоприятная пора для ремонта, а дензнаки не прибывали, денежного перевода, адресованного Эрмитажу, в горфинотдел не поступало. Наконец, под напором бесчисленных напоминаний Ятманова, 28 сентября из Наркомпроса в Эрмитаж была послана телеграмма:

«Дана заявка Наркомфину переводе вам 250 миллионов дензнаков на ремонт. Получение телеграфируйте».

Прождали еще две недели, и 12 октября Ятманов выехал в Москву.

— Доколе, Анатолий Васильевич?

После ухода Ятманова, тотчас, не откладывая, Лучачарский и написал свое сердитое письмо:

«Конфиденциально тов. Литкенсу...»

Письмо возымело немедленное действие.

«Срочно. Петроград.

Управление музея Эрмитаж.

Телеграфируйте Наркомпросу получение вами твердо забронированных 13 октября 250 миллионов...»

В тот же день Эрмитаж ответил:

«Москва. Наркомпрос.

Забронированные 250 миллионов получены...»

19

Уже шел 1922 год.

«Ночью дежурил в Эрмитаже вместе с Д. А. Шмидтом, — записывает в дневник Всеволод Владимирович

Воинов. — Вспоминали старое, эрмитажную старину. Времена Д. И. Толстого, покойного Якова Ивановича, затем революцию, Октябрь, первое появление Ятманова и Мандельбаума, затем Флаксермана, Киммеля etc. Как безумно далеко уже все это, и как, в сущности, все это было недавно!..»

Шел 1922 год, и нелегко еще жилось в Петрограде, нелегко еще жилось всей Советской стране.

«К тому времени самые кровавые и мучительные годы оказались позади,— пишет А. В. Луначарский. — Но войны и катастрофа 1921 года¹ оставили еще повсюду жгучие раны.

Страна переходила к эпохе строительства, но, обернувшись лицом от побежденного врага, увидела свое жилище, свое хозяйство превращенным почти в груды развалин.

На том кусочке фронта, где работали мы, просвещенцы, и который в то время называли „третьим“ фронтом для обозначения его третьеочередности, к которому даже у самых широко смотревших на вещи вождей было отношение как к группе нужд и вопросов, могущих подождать,— на этом кусочке общего фронта не счастье было всяких пробоин, которых нечем было забить, всяких язв, которых нечем было лечить».

Однако и в эти нелегкие годы партия, правительство, Ленин относились к нуждам Эрмитажа с особым вниманием, с особой заботливостью. В 1921 году из Москвы доставляли в Эрмитаж сотни миллионов — толстые пакеты с дензнаками («Петроград. Государственный Эрмитаж. Вчера, 18 октября, вторично отправлен пакет с 250 миллионами...»); в 1922 году Эрмитажу ассигнуются уже не миллионы, а тысячи, но тысячи куда более весомые, чем прошлогодние миллионы,— тысячи в золотом исчислении².

«„Дедушка“ <Э. К. Липгарт>, — записано в дневнике В. В. Воинова, — показывал мне итальянские примитивы, которые будут сейчас выставлены на площадке Главной лестницы». Итальянские примитивы, картины

¹ А. В. Луначарский имеет в виду голод, охвативший ряд губерний в Поволжье.

² В результате денежной реформы 1922—1924 годов рубль был переведен на золотую основу. В 1922 году Советское правительство выпустило бумажный червонец, приравненный к 10 рублям золотом.

раннего Возрождения, принадлежат к послереволюционным приобретениям музея, они заполнят те пробелы, от которых в прошлом столь страдала целостность и полнота итальянской школы в Эрмитаже. Выставка, подготовляемая Эрнестом Карловичем, какое-то время будет еще обособлена от старой Картинной галереи. Картинная галерея еще какое-то время сохранит свой прежний облик, но в других отделах Эрмитажа коллекции предстанут перед посетителями уже в переустроенном виде — в новых группировках и в новых помещениях. «Египетский отдел,— записывает В. В. Воинов,— переезжает в помещение бывшего зала бронзы и библиотеки Античного отдела. Будет несравненно лучше».

Станет несравненно лучше и в пятнадцати заново переустраиваемых залах античного искусства. Здесь всё в движении — переставляют мраморы и бронзы, которыми Эрмитаж владел исстари, устанавливают мраморы и бронзы, которые только на днях привезены в Эрмитаж.

В отчете «Эрмитаж за десять лет», в разделе «Развертывание коллекций», несколько строк посвящены сложностям переустройства экспозиций в музее:

«Эта закулисная сторона музейной работы гораздо более трудна, чем это может показаться постороннему наблюдателю, потому что как бы ни был детально разработан предварительный план экспозиции, его в ходе работ постоянно приходится видоизменять, так как только внесенный в помещение и поставленный на предназначенное ему место предмет может показать правильность первоначального замысла. Угол падения света, форма и размер витрины, компоновка отдельных частей зала могут быть точно учтены только во время практической работы. Особенности трудности при этом представляет перемещение весящих десятки пудов памятников монументальной скульптуры».

...Пособить галерейным, перетаскивающим тяжести в античных залах, Алексей Алексеевич Счастнев ничем, увы, не может — возраст не тот и силенка не та. Но занятие он себе нашел, обивает сукном витрины и шкафы,— как ему не уважить просьбу Оскара Фердинандовича? Приходит Счастнев с утра пораньше,— Оскар Фердинандович беспременно уже в каком-нибудь зале; уходит Счастнев позже других, а Оскар Фердинандович все еще в залах.

Снова, как в молодости, допоздна засиживается в Эрмитаже профессор Вальдгауер — иногда за полночь,

иногда до рассвета. Свершается то, к чему он готовился всю свою эрмитажную жизнь; еще в начале века он досаждал обер-гофмейстеру Всеволожскому тщательно аргументированными проектами коренных изменений в залах Отделения древностей — добился весьма немногого; после Октябрьской революции он писал Совету Эрмитажа:

«Настал момент, когда Галерее древней скульптуры можно придать характер мировой коллекции. Уже в теперешнем состоянии она стоит безусловно выше берлинского и дрезденского музеев, и лишь теснота помещения, в котором она находится, и полное отсутствие изданий отодвинули ее в глазах науки на задний план... Теперь... необходимо не только позаботиться о достойном научной ценности коллекции размещении ее, но и о пополнении ее состава».

Все переставляется, все перемещается в залах античного искусства. Пока еще неясно, что из задуманного удастся осуществить; вероятно, и новая выставка будет далека от идеала, от совершенства, но в любом случае с чисто декоративным принципом, лежавшим в основе старой дворцовой экспозиции, раз навсегда покончено!

С утра до вечера, с утра до ночи Оскар Фердинандович занимается расстановкой вещей. Немногочисленным галерейным служащим помогают студенты Вальдгауера, и какое дивное вознаграждение получают они — лекции-импровизации любимого профессора, читаемые тут же, в музейном зале, у скульптуры, только что водруженной на постамент¹.

Внизу, в залах античного мира, готовят к открытию кардинально перестроенную экспозицию; наверху итальянские примитивы переносят на площадку Главной лестницы.

«Вечером писал картуши для выставки примитивов, — пометает в дневнике В. В. Воинов. — Мои картуши в виде развлечения прикрепляет „сам“ Алекс.

¹ Однажды, как рассказывает А. А. Передольская, во время перевозки скульптур в античные залы Эрмитажа у одной из женских фигур, слишком резко наклонившей грузчиками, внезапно отвалилась голова. Вальдгауэр, руководивший перевозкой, хотел было подхватить голову, не успел, и тяжелая мраморная голова, упав, сломала ему ногу. От боли он вскрикнул, но тотчас же, превозмогая боль, произнес с торжеством человека, чья давнишняя догадка нашла неопровержимое подтверждение:

— Я же всегда говорил, что голова не принадлежит к этой фигуре!

Н. Бенуа (за этим занятием я застал его, придя на верхнюю площадку лестницы). Потом пошли в галерею. Александр Николаевич шутиливо настроен; говоря, что „лавры Вальдгауера не дают ему покоя“, стал делать кое-какие перестановки бронз, только что помещенных в галерею Ж. А. Мацулевич; то переставит, то повернет статую в более выгодное положение по отношению к свету, и при этом легкие, летучие заметки изумительной верности и глубины».

На следующих страницах дневника В. В. Воинов записывает:

«11/V. — В Эрмитаже мое дежурство в Картинной галерее и открытие выставки итальянских примитивов... Впечатление очень значительное. Масса обсуждений...».
«31/V-1922. Среда. Отдел древностей кипит как муравейник — завтра открытие. Вчера привезли из Павловска несколько замечательных античных скульптур...».
«1/VI. Четверг. В 1 ч. дня состоялось торжественное открытие нижнего этажа Эрмитажа (т. е. отделений Классического Востока и греческих и римских древностей)... Народу было масса».

Еще одна запись в дневнике В. В. Воинова:

«3/VI. Суббота. Придя в Эрмитаж, узнал грустную весть о том, что вчера умер от плевропневмонии Алексей Алексеевич Счастнев, один из старейших служащих Эрмитажа (даже самый старший до сего времени)... Простудился он, работая по обиходу шкафов в Отделе древностей. Служил в Эрмитаже еще при Трубецком, Всеволожском и Толстом... Труженик он был самоотверженный, из числа тех, кто остается безымянным при постройке пирамид, но без которых и их бы не было...»

Хоронить Алексея Алексеевича пришел весь Эрмитаж.

«Мир праху хорошего человека», — записано в дневнике Воинова.

С перевеской в залах старой Картинной галереи Бенуа не торопился — требовалось время, чтобы изучить, классифицировать, научно обработать огромный материал, поступивший в Эрмитаж после революции. Перевеску Бенуа начнет в 1924 году. Он с гордостью укажет затем в автобиографической заметке для Итальянской

энциклопедии: «С 1919 года ...состоял управляющим Картинной галереей Эрмитажа в Петербурге, в качестве которого произвел полную и более рациональную перегруппировку наших сокровищ».

Не раз еще будет видоизменяться экспозиция Картинной галереи,—советское музееведение в итоге долгих поисков выработает новые, строго научные экспозиционные принципы,—но перевеска, осуществленная Александром Бенуа, по сей день признается заметной вехой в истории эрмитажного собрания. Во вступительной статье к двухтомному, наиболее полному каталогу живописи, представленной в Отделе западноевропейского искусства, В. Ф. Левинсон-Лессинг пишет:

«В 1924—1926 гг. была произведена под руководством А. Н. Бенуа, заведывавшего с 1919 г. Картинной галереей и сыгравшего значительную роль в деле ее пополнения в эти годы, перевеска картин с включением новых поступлений, весьма существенно обогативших экспозицию. Принципиально не изменяя характера музейной экспозиции сравнительно с дореволюционным временем, эта перевеска представляла все же значительный шаг вперед, так как позволила провести с большей ясностью и последовательностью историческую группировку материала и значительно улучшила условия показа отдельных памятников»¹.

Эрмитажный каталог со статьей, в которой содержится столь высокая оценка роли А. Н. Бенуа в истории Картинной галереи Государственного Эрмитажа, вышел в 1958 году — Александр Бенуа был еще жив, ему исполнилось тогда восемьдесят восемь лет, но к этому времени минуло уже более трех десятилетий, как в его жизни произошел крутой поворот — круче некуда.

...Составляя по просьбе В. И. Ленина в 1921 году характеристики виднейших деятелей русской науки и культуры, А. В. Луначарский, как читатель помнит, дал пространный отзыв и об Александре Бенуа. «...Я познакомился с ним у Горького, и мы очень сошлись,—писал Луначарский в этом отзыве, частично уже известном читателю.—После Октябрьского переворота я бывал у него на дому, он с величайшим интересом следил за

¹ В итоге перевески, произведенной в середине двадцатых годов, количество залов эрмитажной Картинной галереи возросло более чем вдвое — с двадцати двух до сорока шести.

первыми шагами нового режима. Он был одним из первых крупных интеллигентов, сразу пошедших к нам на службу и работу». И вместе с тем, говоря о Бенуа, Луначарский отмечал, что жизненные невзгоды и другие обстоятельства «вызвали в нем известное брюзжание, постепенно перешедшее даже в прямое недовольство». «Думаю, что сейчас он другом Советской власти не является,— со всей откровенностью пишет Луначарский Ленину,— тем не менее, он как директор самой важной части Эрмитажа <...> приносит нам огромные услуги. Вообще человек драгоценнейший, которого нужно всячески беречь». Свой отзыв о Бенуа Луначарский заканчивает сообщением, что петроградские руководители «в последнее время делают шаги к улучшению его положения, что вероятно разгладит морщины на его эстетическом челе».

Разгладить эти «морщины» было уже невозможно. Сказывались и материальные трудности — условия жизни в Советской стране улучшались, но улучшались медленнее, чем хотелось бы, да и политические симпатии Бенуа не отличались устойчивостью и обычно зиждились больше на эмоциях, чем на глубоком понимании закономерностей исторического процесса. Осенью 1926 года Бенуа переселился в Париж.

Он и раньше, в начале двадцатых годов, неоднократно выезжал за границу — ему предоставляли командировки, и он подолгу жил во Франции как гражданин Советского Союза. В Париже, кишевшем злобствующими белоэмигрантами, он каждый раз считал своим долгом изобличать вралей, не перестававших сочинять небывлицы об уничтожении в Совдепии художественных памятников¹. Он много работал для французских те-

¹ В 1924 году А. Н. Бенуа, вернувшись из Парижа, писал на страницах советского журнала «Музей»:

«...В мою недавнюю бытность за границей, в беседах с людьми самого разнородного характера и положения я каждый раз замечал... что наибольшее впечатление производили те мои рассказы, в которых я сообщал о сохранности всех драгоценностей, доставшихся революции в наследство от старого строя. Эти мои сообщения опровергали тенденциозные слухи, которые и по сей день распространяют враги Советской власти, утверждающие, что после Октябрьской революции все было расхищено и уничтожено. Симпатии к СССР в самых широких западноевропейских кругах завоевали именно подобные, подтвержденные действительностью опровержения. В этом смысле покляпы врагов оказывались даже полезными, ибо тем ярче выступала затем истина, тем более внушительным представлялся самый план, легший в основу всей охранной деятельности нашего правительства в отношении к памятникам

атров и кино, и каждый раз, когда он бывал в Париже, художественные деятели, антрепренеры, парижские друзья уговаривали его остаться навсегда во Франции, прельщали интересными заказами, выгодными контрактами. В Париже — семья, удобства, изобилие житейских благ, но в Ленинграде — колеблется Бенуа — «прерванные задачи всей жизни». «Вообще же,— пишет он в 1925 году Ф. Ф. Нотгафту из Парижа,— сердце у меня продолжает разрываться между здешним и всем тем, что является делом жизни на родине. Нечего говорить, жить здесь удобнее, но туда меня тянет все то, что там осталось, и на первом месте Эрмитаж».

Он уезжал, возвращался в Ленинград, опять уезжал; он засиживался в Париже все дольше и дольше, но даже в 1927—1929 годах, когда за границей Бенуа жил уже непрерывно, он тешил себя мечтой, что скоро-скоро его личные обстоятельства изменятся и позволят ему «отказаться от здешнего „отхожего промысла“ и, вернувшись на родину, снова заняться своим основным душевным делом». Он узнаёт, что в Эрмитаже его по-прежнему ждут, и в 1929 году пишет Ф. Ф. Нотгафту: «Вашим сообщением, что я „все еще“ Ваш коллега, я был безмерно осчастливлен. В бытность здесь Тройницкого я даже и не решился задать этот вопрос, так стало мне не по себе от предположения, что могу получить отрицательный ответ. Теперь же я могу еще лелеять надежду, что по возвращении на родину... я окажусь при своем деле, о котором я не престанно тоскую! А как раз то, что Вы мне пишете о переборках и перевесках, меня очень волнует и хватает за живое! Я не сомневаюсь, что и без меня все это устроится во славу Аполлона и Эрмитажа, но руки все же чешутся как-то помочь и, главное, ужасно хочется увидеть, как все это делается... Я до сих пор живу впечатлениями и уроками нашей последней, поистине колоссальной работы 1926 года! Ах, как было хорошо, как чудесно я себя чувствовал среди вас — дорогих товарищей, как я ощущал свою полезность»... И тут же полное горечи замечание о своей парижской жизни: «...не будучи эмигрантом по убеждениям, я влачу туск-

искусства и старины. Не только ничего не оказалось разрушенным, но все прекрасное и ценное в историческом и художественном смысле оказалось стоящим под особо бдительным попечением власти, сознающей всю важность для дальнейшей культурной работы сохранения тех образцов, на которых можно изучать с пользой для себя быт и искусство прошлого».

лое эмигрантское существование». В конце 1930 года, после четырехлетнего отсутствия, Бенуа из Эрмитажа был отчислен. «Волею судеб я не вернулся и, сам того не желая, превратился в эмигранта!» — говорит о себе Александр Бенуа в одном из позднейших писем в Советскую Россию.

Переписывавшиеся с Бенуа и навещавшие его в Париже художники М. В. Куприянов, П. Н. Крылов и Н. А. Соколов — знаменитые Кукрыниксы — в статье «Александр Бенуа — наш собеседник» рассказывают:

«Свыше тридцати последних лет своей долгой жизни (Бенуа скончался в 1960 году, почти в 90-летнем возрасте) художник провел вдали от Родины, но никогда не утрачивал нерушимой внутренней близости к ней... Мы видели А. Н. Бенуа 88-летним человеком в его тесной парижской квартире и были восхищены тем, что в нем не угасла пламенная любовь к русской и советской культуре, к правде и честности в искусстве, к творчеству не для богатых „знатоков“, а для народа»¹.

Его навещали приезжавшие в Париж советские художники и искусствоведы, он радовался каждому письму, прибывающему из Советского Союза. Однажды, в декабре 1958 года, он получил увесистую бандероль и сразу догадался, что это один из его ленинградских корреспондентов, преобладающий человек, прислал обещанный ему двухтомный эрмитажный каталог, недавно вышедший в Ленинграде.

«...Не нахожу слов — это отнюдь не фраза, — чтобы поблагодарить за новый, столь ценный дар! — прекрасно изданный каталог в двух томах нашего чудесного Эрмитажа, — пишет Бенуа в ответном письме А. Н. Савинову. — С тех пор, как он (каталог) получен, — ше-

¹ Статья Кукрыниксов посвящена выходу в свет книги «Александр Бенуа размышляет» — сборника статей и писем этого выдающегося художника и музейного деятеля, относящихся к 1917—1960 годам. Высоко оценивая книгу и работу ее составителей и авторов вступительной статьи, известных советских искусствоведов И. С. Зильберштейна и А. Н. Савинова, Кукрыниксы пишут:

«Советскому обществу возвращается замечательный художественный деятель, человек светлого ума и прекрасного таланта. Бенуа и за рубежом был достойным представителем славных художественных традиций своей Родины. Более того, Александр Бенуа, которого мы узнаем наново по его поздним статьям и письмам, предстанет нашим союзником в борьбе с модернистскими извращениями. «Как мне хотелось бы быть вместе со всеми вами!» — воскликнул Бенуа, завершая свое последнее письмо на Родину. Мы вправе сказать, что с изданием книги, о которой мы пишем, сбылась его мечта».

стой день и я и мой друг С. Р. Эрнст сидим, погруженные в его изучение. И особенно я тронут теми словами, что посвящены мне и содержат справедливую оценку моей деятельности в этом прекраснейшем и богатейшем из музеев мира...»

Он снова и снова перелистывал страницы, разглядывал репродукции, наслаждался, блаженствовал. «Государственный Эрмитаж. Отдел западноевропейского искусства. Каталог живописи... Научный редактор В. Ф. Левинсон-Лессинг». Научного редактора этого каталога он помнит застенчивым молодым человеком, приходившим в восемнадцатом, кажется, году просить о службе в Эрмитаже. К Володе Левинсону-Лессингу — за его энциклопедическое всеведение — как-то сразу прилепилось прозвище «Брокгауз и Ефрон», и правда — из эрудитов эрудит. Сколько шуму вызвала в Эрмитаже сенсационная находка, сделанная Володей на антресолях библиотеки Академии художеств: везение? интуиция? — на самом верху библиотечных шкафов он обнаружил давно позабытую коллекцию рисунков, собранную еще Бецким в середине XVIII века, купленную Екатериной, переданную ею в Академию художеств и пролежавшую здесь полтора века в пыли и паутине; шесть тысяч листов, среди них первоклассные — Дюрер, Иорданс, Ван-Дейк, Фейт... Ах, какая это была находка! Ее сравнивали тогда с другой удивительной находкой, сделанной профессором Вальдгауером, — свою «пелику с ласточкой» еще молодой тогда Вальдгауер ведь тоже откопал совершенно случайно, и не где-нибудь на стороне, а в самом Эрмитаже!¹

...Бенуа радуется каждой книге, присылаемой из Советского Союза, радуется каждому письму, приходящему из Эрмитажа — от его бывших сотрудников, от его давнишних друзей. «Милая, дорогая, многоуважаемая Мария Илларионовна! — пишет он М. И. Щербачевой. — ...Я был чрезвычайно обрадован получением Вашего

¹ Пользуясь мировой известностью «пелика с ласточкой», краснофигурная ваза работы мастера Евфрония (VI в. до н. э.), поступила в Эрмитаж в 1901 году. Желая, видимо, закрепить лично за собой возможность ее специального изучения, хранитель Отделения древностей Г. Е. Кизерицкий спрятал «пелику с ласточкой» вместе с другими столь же уникальными античными сосудами в библиотечном шкафу за огромными фоллиантами Пирамези. Однако в 1902 году Кизерицкий внезапно умер; спрятанные им вещи считались бесследно исчезнувшими до тех пор, пока О. Ф. Вальдгауер, копаясь в ведрах библиотечных шкафов, не обнаружил их местонахождение.

письма, доказывающего, что... через Вас, мою когда-то ценнейшую сотрудницу, я снова как бы „состою в Эрмитаже“!»

Воспоминания, воспоминания... В те времена, когда он «состоял в Эрмитаже», Отделение рисунков находилось внизу, в одном из помещений Отдела античного мира. Большой стол, и на нем папки и альбомы — с рисунками, с гравюрами. Вокруг стола всё милые ему люди — Стип Яремич, Жорж Верейский, Доброклонский, Таня Каменская... «И я вспоминаю,— пишет он М. В. Доброклонскому,— о тех минувших, почти полвека назад, годах, когда мы так дружно, так „уютно“ служили искусству под величественными сводами нижних зал Эрмитажа; вспоминаю с умилением, как о поре необычайно счастливой в нашем ощущении какого-то коллективного единения — во славу Искусства...» «...Ах, Эрмитаж! Ну как это я мог его покинуть? Покинуть такой рай!» — отвечает он на письма Т. Д. Каменской. «...Сколько вспоминается чудесного и милого. „Возня“ с любимыми картинами, контакт с обожаемыми мастерами, да еще в чертогах Эрмитажного дворца — это ли не счастье?» «...То, что Вы мне вообще говорите о размахе деятельности Эрмитажа, наполняет мою душу ретроспективной (да и „актуальной“) гордостью. Приятно было узнать и о том, в каком фаворе пребывает наш бесподобный музей среди народных масс».

«Ах, Эрмитаж!» Да, он состоял в Эрмитаже до последнего вздоха. По свидетельству родных, в предсмертном бреду Бенуа видел себя в эрмитажных залах — вот он идет по Картинной галерее с кем-то из друзей, останавливается у любимых полотен, говорит о любимых мастерах...



Сопровождать Александра Николаевича в его проходах по Картинной галерее, заглядывать вместе с ним в эрмитажные кладовые и на склады Государственного музейного фонда было для каждого из его спутников истинным удовольствием. До перевески еще далеко, но уже сейчас идет отбор картин, деление их по категориям — одни войдут в состав галереи в ее новом, преобразованном виде, другие лягут в основу создаваемой в Эрмитаже *Studiensammlung*¹. «Пока что,— записыва-

¹ Собрание для научных занятий (*нем.*), т. е. собрание картин, не предназначенных для экспозиции в залах галереи, но ценных

ет в свой дневник В. В. Воинов в марте 1922 года,— выставляются на мольбертах (в зале „Истории древней живописи“) наиболее выдающиеся картины, которые досадно держать под спудом; так, например, выставлены сейчас 5 картин из собрания Кочубей». Просмотрены сотни, тысячи полотен.

В июле 1922 года В. В. Воинов записывает:

«Пошли с А. Н. Бенуа вместе во 2-ю Запасную половину, где устраивается выставка французов. Получается чудесно»¹.

Эту большую выставку произведений французского искусства XVII—XVIII веков готовили долго, полгода. Она составила из поступлений пореволюционных лет — первоклассных вещей, которые тоже «досадно было держать под спудом» до осуществления капитальной перевески, до реорганизации всей Картинной галереи. Печать тотчас окрестила выставку «новой галереей Эрмитажа», «новым отделением музея».

«Новое отделение и старая галерея Эрмитажа, — писали «Известия» в ноябре 1922 года, — дают богатейший материал для изучения французского искусства».

Петроградский корреспондент «Известий» сообщал:

«...Прекрасны не только образцы французской живописи, полученные из Музейного фонда. Нужно было объединить их так, как это сделал А. Н. Бенуа, знаток истории искусства... Из окон перехода, соединяющего новое отделение с основным зданием музея, открывается вид на сады, разбитые на кровле дворца, — „висячие сады“ Екатерины II... Отделение включает редкие картины Пуссена, шесть картин Ватто, в том числе так называемое Гатчинское „Св. семейство“, бывшее еще недавно почти недоступным для знатоков, не говоря о

в художественно-историческом отношении и важных как подсобный сравнительный материал для рассмотрения тех или иных специальных искусствоведческих проблем. Впрочем, в состав *Studiensammlung* были первоначально отнесены и многие так называемые «картины первой категории», которые в дальнейшем, при последующих перевесках, заняли место в основной экспозиции или выставлялись на разных временных выставках. С годами *Studiensammlung* превратился в Эрмитаже в ценнейший запасной фонд живописи, сосредоточенный в специальных картинохранилищах.

¹ Второй запасной половиной именовалась анфилада комнат в бельэтаже в юго-восточной части Зимнего дворца (от Александровского зала до перехода в здание Нового Эрмитажа).

широких массах трудящихся...¹ В отделении, открытом на этих днях, представлены только новые вещи... Собрание картин французских мастеров в Эрмитаже осталось незатронутым, из него не перенесено в новую галерею ни одной картины. Кое-что взято из складов Эрмитажа, до сих пор задыхавшегося от недостатка помещения...»

Все газеты указывали, что выставка устроена в той части Зимнего дворца, где в XVIII веке находились личные покои Екатерины II, — дворец сгорел в 1837 году, и после его восстановления парадным комнатам, возникшим на месте екатерининских апартаментов, дали название Второй запасной половины. «В дореволюционные годы здесь жили разные сановники царского двора, в том числе и Столыпин, — напоминала своим читателям «Петроградская правда», подчеркивая политическое значение открытия новой эрмитажной галереи в залах бывшего императорского дворца. — ...Новая галерея — прекрасный памятник советского культурного строительства».



То, что Зимний дворец со временем станет естественным продолжением Государственного Эрмитажа, было предопределено еще в октябре семнадцатого года, когда нарком Луначарский именем Правительства Российской Республики возвел в ранг народного музея бывшую резиденцию русских царей. Постепенно Эрмитажу передавались примыкающие к нему дворцовые здания, некогда для него, для Эрмитажа, построенные, — Фельтенов дом, Ламотов павильон, Эрмитажный театр, а затем и некоторые помещения в самом Зимнем дворце, — весь же Зимний дворец, как подтверждают документы, перешел в ведение Государственного Эрмитажа к концу 1922 года.

Советской власти только пять лет; только два года минуло, как сокровища Эрмитажа вернулись на берега Невы; во всех прежних эрмитажных зданиях — и в Новом Эрмитаже, и в Старом Эрмитаже (Фельтеновом доме), и в Малом Эрмитаже (Ламотовом павильоне) — уже развернуты экспозиции, а собрания музея, так воз-

¹ В каталоге 1958 года эта картина, поступившая в Эрмитаж из Гатчинского дворца в 1920 году, значится под названием «Отдых на пути в Египет».

росшие за годы революции и продолжающие непрестанно возрастать, настойчиво требуют еще больших экспозиционных площадей, еще больших экспозиционных просторов. И потому-то выставка французской школы, открытая в одиннадцати залах Второй запасной половины Зимнего дворца, явилась в эрмитажной жизни событием двойного значения: музей знакомил широкую публику с частью своих новых богатств и «вместе с тем, — говорится в отчете Эрмитажа, — это был первый шаг к музейному использованию дворцовых помещений».

Проходит, однако, еще два года, и оказывается, что громада Зимнего дворца до неправдоподобия тесна, неуместительна, мала; оказывается, что за два прошедших года экспозиционная площадь, доставшаяся Эрмитажу в Зимнем дворце, полностью исчерпана¹, оказывается, что развешивать новые эрмитажные экспозиции больше негде — первый этаж дворца и третий его этаж для музейных выставок совершенно непригодны.

Характеризуя современный нам ансамбль эрмитажных зданий, протянувшийся от Зимней канавки до Адмиралтейского проезда, известный советский искусствовед М. В. Алпатов метко сказал:

«Эрмитаж в большей степени обязан зодчему-поэту Растрелли, чем архитектору-эрудиту Кленце»².

Верно, он прекрасен, Зимний дворец; он был прекрасен во времена Растрелли, прекрасен он и в наши дни; он прекрасен, Зимний дворец, но не следует упускать из виду, что не таким, каким его знают сегодня миллионы людей, совсем не таким предстал он перед эрмитажными хранителями, только делавшими «первые шаги к музейному использованию дворцовых помещений», только начавшими обживать огромное дворцовое здание. Воскресни Растрелли, он, право же, не узнал бы своего творения. «После пожара 1837 г. и до 1917 г. дворец „приспосабливали“ к нуждам бывших владель-

¹ Вслед за выставкой французского искусства XVII—XVIII веков, открывшейся в парадных комнатах Второй запасной половины, в 1923 и в 1924 годах тоже в залах второго этажа Зимнего дворца были развернуты выставки итальянской живописи XVII—XVIII веков, западноевропейской живописи XIX века (в дореволюционном Эрмитаже этот материал в Картинной галерее отсутствовал), а также выставки оружия и рыцарских доспехов. Как отмечалось выше, часть второго этажа, помимо Музея революции, в те годы занимали так называемые «исторические комнаты».

² Кленце Лео (1784—1864) — автор проекта Нового Эрмитажа.

цев так интенсивно, что от первоначальной планировки его мало что сохранилось,— пишет А. В. Сивков, дол-голетний архитектор Государственного Эрмитажа.— Раньше большие галереи, залы и покои числом около четырехсот тянулись через все здание в виде анфилад. Теперь же во дворце оказалось около тысячи ста пятидесяти в большинстве своем изолированных помеще-ний, перемежающихся многочисленными внутренними лестницами».

Ни на первом этаже, ни на третьем приступить к развертыванию эрмитажных экспозиций практически невозможно. Первый этаж, если исключить несколько помещений, которые до революции занимали дворцовые канцелярии и квартиры высших дворцовых чинов, со-стоит из полутемных клетушек, предназначенных для проживания низшего обслуживающего персонала (мас-сивные железные решетки на окнах делают их похожи-ми на тюремные камеры), из подсобных хозяйственных кладовых, расположенных друг над другом в два-три яруса и бесчисленных кухонь (кухонь пяти разрядов и еще особой, «собственной» кухни), из пекарен, вёртель-ных, пирожных, кофешенкских... А третий этаж пере-оборудован под квартиры для фрейлин и камер-юнг-фер — темные коридоры с дверьми по обеим сторонам, гостиничная планировка, что-то вроде меблированных комнат. Да и во втором этаже, в его надворной сторо-не, выставок не развернуть — здесь тоже немало жилых помещений, образующих изолированные блоки: спальни, гостиные, будуары¹.

«Тщательное изучение дворца и сопоставление с со-хранившимися планами показало, что подавляющее большинство работ по превращению жилых и подсоб-ных помещений в залы музея совпадает с работами, ко-торые нужно провести для восстановления планировки, созданной либо Растрелли, либо после пожара 1837 г. Стасовым и Брюлловым,— рассказывает А. В. Сивков.— Таким образом, проект <составленный в Эрмитаже> предусматривал не только реконструкцию, но и рестав-рацию дворца». С середины двадцатых годов, по вы-ражению автора проекта А. В. Сивкова, «началось на-ступление Эрмитажа на Зимний дворец».

Эрмитаж наступал, возвращая дворцу Растрелли утраченный им величавый простор. Эрмитаж наступал,

¹ Все эти перепланировки и устройство антресольных этажей местами превратили трехэтажный Зимний дворец в шестиэтажный.

и по мере того как дворец освобождался от уродовавших его каморок, клетушек, антресольных этажей, возникали все новые и новые анфилады выставочных залов, новые и новые Эрмитажные галереи.

(Многочисленные примеры архитектурно-реставрационных работ, производившихся в Зимнем дворце в связи с его реконструкцией, приводит тот же Александр Владимирович Сивков. Так, в первом этаже дворца вдоль так называемого Кухонного коридора располагалось в два яруса более тридцати хозяйственных кладовых, низких и темных; когда были разобраны антресоли, лестницы и стены, открылись стройные ряды колонн, даже с сохранившимися капителями, лишь кое-где пришлось воссоздать карнизы, декоративные порталы и по имеющимся образцам восстановить лепное убранство; в итоге на месте этого полутемного Кухонного коридора была возрождена прекрасная по архитектуре двухнефная галерея — в том виде, в каком задумал ее Растрелли (ныне Растреллиевская галерея используется Эрмитажем для устройства временных выставок). По соседству с Кухонным коридором, в самих дворцовых кухнях, разобрали до пятидесяти плит, вертелов, хлебопекарных печей и т. п., в результате чего Эрмитаж получил еще одну анфиладу выставочных залов, часть которых ныне занимает экспозиция культуры и искусства Древнего Египта. Тут же, в первом этаже, все пространство под Большим тронным залом (или Георгиевским, как он еще называется) до реконструкции было занято помещениями дворцового Главного буфета и пожарного караула, очень темными и низкими помещениями со сводами, начинавшимися от самого пола, и кладовыми, расположенными на антресолях; после разборки стен, сводов и лестниц получился выставочный зал площадью 600 квадратных метров и высотой до 8 метров — нынешний зал Ольвии и Херсонеса.

Подобной же реконструкции подверглись и другие части первого этажа, надворная сторона второго этажа и, конечно же, третий этаж, где в анфилады светлых выставочных залов были переобстроены не только фрейлишские и камер-юнкферские комнаты, но и группа мелких помещений, носивших не случайно название «лабиринт».

Реконструкция Зимнего дворца, прерванная в 1941 году, возобновилась после окончания Великой Отечественной войны. И если до революции Эрмитаж располагал всего 56 выставочными залами общей площадью 11 500 квадратных метров, то в настоящее время его экспозиционная площадь состоит из 356 залов общей площадью около 50 000 квадратных метров. Площадь же всех музейных помещений (вместе с запасниками, научными кабинетами, реставрационными мастерскими и т. п.) составляет 104 000 квадратных метров.)



Музей-гигант, музей-левнафан! В 1924 году, когда Картинная галерея Эрмитажа уже выплеснулась в дворцовые залы и задача реконструкции Зимнего дворца стала неотложной, Александр Бенуа в письме Г. С. Ятманову с воодушевлением говорил о значении для науки об искусстве таких музеев-гигантов, как Лувр, Британский музей, Эрмитаж, Дрезденская галерея, Уффици. «Правда,— замечает Бенуа,— в обществе существует и враждебное отношение к подобным левнафанам вообще; указывается, что конгломераты такого масштаба превращаются в своего рода кладбища, в которых художественным предметам суждено быть как бы погребенными, но это отношение принадлежит не серьезным людям искусства и науки, а дилетантам, и чаще всего бывает вызвано утомлением от попыток в два-три приема поглотить все, что „надлежит видеть и знать образованному человеку“. Между тем эти гигантские музеи не могут служить только удобными наглядными пособиями для общедоступных скороспелых экскурсий; они обслуживают совершенно иные, высшие области человеческого познания, ибо только благодаря этим колоссальным подборам могут вообще выясняться как бесчисленные частные догадки, так и самые широкие общие проблемы, требующие постоянного сопоставления больших масс типичных предметов, сопоставления, действующего не посредством мгновенных эффектов, но посредством векового соседствования, а также работы сменяющихся поколений ученых и художников, изучающих как самые предметы индивидуально, так и группировки...»¹.

Отголосок недавних споров: года два назад в наркомпросовских кругах много дискутировали о назначе-

¹ К некоторым вопросам, затронутым в приведенном письме, А. Н. Бенуа возвращается и позже. «Жалобы на необъятность Эрмитажа, на утомительность обзора и прочее справедливы, но об этом следует подумать самим руководителям экскурсионного дела,— пишет Бенуа в 1926 году.— Нельзя захватывать при обзоре весь материал, нужно ограничиваться одной школой, в следующий раз осматривать другую и т. д. Естественно, что нельзя прочесть, как следует, за один раз такое „полное собрание сочинений“, каковым является Эрмитаж».

Упомянем, что еще в ноябре 1913 года большевистская «Правда», пропагандируя массовые экскурсии рабочих в художественные музеи, опубликовала методический план осмотра залов Эрмитажа, рассчитанный именно на многократные посещения музеев в определенном, последовательном порядке.

нии советских музеев, об их роли в культурной жизни страны. «Как-то Главполитпросвет Наркомпроса внес предложение сделать музеи только политико-просветительными учреждениями и отказаться от научно-исследовательской работы в них, соответственно изменив и характер экспозиции музеев,— рассказывает профессор Ф. Н. Петров, старый большевик, в двадцатые годы начальник Главнауки. — На коллегии Наркомпроса возник спор. По предложению А. В. Луначарского вопрос был передан на решение Владимира Ильича, и он ответил, что музеи не только политико-просветительные, но и научно-исследовательские учреждения. Без научной работы музеи не смогут давать тех знаний, в которых нуждается наш народ». Государственный Эрмитаж, такой, каким он уже был в середине двадцатых годов (а тем паче такой, каким ему еще суждено стать), музей-гигант, музей-левшафан, своими колоссальными подборами памятников искусства и культуры предоставлял ученым неисчерпаемые возможности для глубоких и разносторонних научных исследований.

Мировой научный центр, — теперь-то, в середине двадцатых годов, уже и сами эрмитажные не считали столь радикальными те музейные реформы, которые были ими осуществлены на протяжении первых пореволюционных лет. «Мы еще только начинаем работу,— сказано в документе 1927 года, подытоживающем десятилетнюю деятельность Государственного Эрмитажа,— ...но наши музеи связаны с общей народной жизнью, и в этом залог их дальнейшего успеха и развития». Так оно и произошло: с годами величайшего социалистического подъема во всех областях народной жизни совпадает тот период в истории музея, который в свое время по праву был назван «социалистической реконструкцией Эрмитажа».

(Реконструкция Эрмитажа в конце двадцатых и начале тридцатых годов диктовалась необходимостью приведения его структуры, его экспозиции, его научно-исследовательской и научно-просветительной работы в соответствие с принципами и методикой марксистско-ленинской науки. Эта перестройка всех сторон деятельности музея, протекавшая в годы, когда советское искусствознание только складывалось, настойчиво требовала от научного персонала, в особенности от ученых старой формации, преодоления эклектизма, формализма, пережитков идеалистических концепций. При всей новизне и сложности проблем, выдвинутых реконструкцией, при

всех допущенных поначалу ошибках, научный коллектив Эрмитажа оказался на высоте поставленных перед ним задач. Многие из того, что тогда было сделано, сохранилось и поныне, используется — с теми или иными поправками — вплоть до наших дней.)¹

20

Как давно это было: опоясанный лентами матрос вламывается в пустой заледеневший Эрмитаж, требуя, чтобы здесь, в музее, сберегли на вечные времена попавшую ему в руки ремесленную поделку, которую в простоте душевной он посчитал произведением искусства, — как давно это было, и как, в сущности, это недавно! Безымянный балтийский матрос — если он не сложил головы где-нибудь в степи под Херсоном, если не погиб в боях за власть Советов, если жив-здоров возвратился домой — на свой крейсер, на свою миноноску (или встал к станку на бывшем Путиловском, на бывшем Айвазе, на бывшем Лесснере), вероятно, при первом же случае он снова побывал в Эрмитаже; что ни дверь — новое зало, что ни зало — народу полным-полно, ходят чинно, не торопясь, а заговорят меж собой — то шепотком, вполголоса. Походил матрос, поглядел матрос — всего за раз не упомнишь.

Пришли, вероятно, в Эрмитаж и рабочие с завода Речкина, Фомы неверные, о которых Горький писал Луначарскому, — собрались они в музей, едва в газетах объявили, что «после возвращения картин открыт для обозрения зал Рембрандта». Уж своим-то глазам как не поверить?!

Приехав в Петроград, провел несколько часов в зале Рембрандта и нарком Луначарский — это его первая

¹ В настоящее время Государственный Эрмитаж состоит из шести научных отделов: Отдела истории западноевропейского искусства (объединившего Картинную галерею с Отделом прикладного искусства), Отдела культуры и искусства античного мира, Отдела искусства и культуры народов Востока, Отдела истории первобытной культуры, Отдела нумизматики и созданного в 1941 году Отдела истории русской культуры (в этот перечень не включены Научно-просветительный отдел, Отдел реставрации и консервации и Научная библиотека).

Коллекции Эрмитажа в выставочных залах и запасниках насчитывают более 2 760 000 экспонатов: свыше 16 000 картин, 12 000 скульптур, 600 000 графических произведений, 600 000 археологических памятников, 1 000 000 монет и медалей и 260 000 памятников прикладного искусства.

встреча с Рембрандтом ван Рейном под сводами Эрмитажа. Картинами великого голландца гордятся лучшие музеи Европы, в годы невольных странствий по границам он видел и «Ночной дозор» в Амстердаме, и «Анатомию доктора Тюльпа» в Гааге, и «Вирсавию» в Лузере, но эрмитажное собрание, которое он знал до сих пор только по книгам и фотографическим снимкам, ни с чем не сравнимо, и как не произнести тут сакраментальные слова — «это прекрасно», как тут не воскликнуть — *vivat, Рембрандт, vivat, Рембрандт Гарменс ван Рейн!*

И тогда, при первом посещении зала Рембрандта, и позже, всякий раз, когда Анатолий Васильевич навещал Эрмитаж, он испытывал необыкновенно приятное чувство, примечая, как старый, полуторавековой музей возрождается к новой жизни, как новая жизнь наполняет эрмитажные залы и галереи. Он с интересом услышал, что эрмитажный подъезд на Миллионной с его небольшим вестибюлем из-за наплыва посетителей стал уже невозможно тесен и что для массовых экскурсий в Эрмитаж предположено открыть самый парадный подъезд Зимнего дворца — Иорданский. Луначарский всецело одобрил такое намерение: это же тема для партийной публицистики — главный вход в Зимний дворец становится главным входом в народный музей!



«У меня не хватит мужества утверждать, что я действительно видел Эрмитаж. Я только побывал во всех его залах. В самом деле: кто сможет внимательно осмотреть его в день или в неделю?» Строки эти написаны Стефаном Цвейгом в 1928 году. Цвейг приехал тогда в Советский Союз как представитель австрийских писателей, чтобы принять участие в праздновании столетия со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Он побывал и в Ленинграде, посетил Эрмитаж. В Эрмитаже он намеренно прошел сорок или пятьдесят залов с закрытыми глазами, чтобы остановиться перед полотнами Рембрандта, перед собранием Ватто и Фрагонара. «Ошеломленный этими богатствами, я просил показать мне лишь исключительные произведения, лишь то, чего я нигде больше не увижу». Ему показали золото скифов, сасанидское серебро...

И было в Эрмитаже еще нечто, чего Стефан Цвейг никогда не видел ни в одном музее мира.

«Величественный Эрмитаж, и незабываемое зрелище: толпы рабочих, солдат, крестьян в тяжелых сапогах, благоговейно сняв шапки, словно перед иконами, проходили по бывшим царским апартаментам, разглядывая картины с затаенной гордостью — теперь это наше, и мы научимся понимать такие штуки. Учителя проводили по залам круглощеких детей, объясняли робеющим слегка крестьянам Рембрандта и Тициана; всякий раз, когда обращали внимание на детали картин, зрители вглядывались исподлобья, украдкой...»

Несколькими днями позже, в поезде, по пути из Москвы в Ясную Поляну, Стефан Цвейг рассказывал Луначарскому, на какие раздумья навели его в эрмитажных залах толпы рабочих, крестьян, солдат.

— Да, это бескорыстное и искреннее стремление одним духом поднять народ из тьмы невежества до понимания Бетховена и Вермеера отдавало чем-то наивным, но желание одних с ходу объяснить, а других с лёта понять высочайшие ценности было у тех и у других одинаково нетерпеливым...

Луначарский ответил Цвейгу с легкой улыбкой:

— Нас, русских, неверно понимают, называя нас терпеливыми. Мы терпеливы телом и даже душой, но мышление у нас нетерпеливее, чем у любого другого народа...

...Накануне первой годовщины Октябрьского восстания, 30 октября 1918 года, «Петроградская правда» напечатала статью «Революция и культура»:

«Русская социалистическая революция, вынужденная отстаивать свои завоевания, вынужденная бороться не покладая рук против своих врагов, внутренних и внешних, совершает исподволь, незаметно для постороннего глаза великую созидательную и преобразовательную работу. Все стороны народной жизни, начиная с организации производства и распределения и кончая народным образованием, наукой и искусством, получают колоссальный толчок вперед, реформируются на новых началах в интересах пролетариата и трудящихся масс. Современнику трудно оценить во всей полноте то, что сделано в этой области революцией. Только будущий историк сможет дать общую оценку громадной работы, совершенной пионерами нового общества, созидателями пролетарской культуры».

Великая созидательная работа — везде, всюду. Спустя десять лет Стефан Цвейг писал об Эрмитаже, который «вырвался из своего помещения, забрался в тыся-

чеоконный Зимний дворец и затопил своими богатствами парадные покои и приемные залы царей». Свою восторженную статью Цвейг заканчивает словами:

«Здесь, в сокровищнице, в парадных покоях царей... начинаешь понимать органичность русской революции».



В 1918 году Ленин сказал Луначарскому:

— Совершенно необходимо приложить все усилия, чтобы не упали основные столпы нашей культуры, ибо этого нам пролетариат не простит.

Ленинский завет был выполнен.

«Среди волн разбушевавшегося народа, часто совершенно невежественного и голодного, выпрямившего спину с чувством неугасимой мести, пришпоренной новой борьбой, новыми обидами,— среди всего этого хаоса мы сумели сохранить наши музеи... — писал А. В. Луначарский в 1926 году на страницах ленинградской «Красной газеты». — Это было нелегко, и это сделано было соединенными усилиями тех коммунистов, которые поставлены были на охрану культурного наследства, и тех героических музейных работников, от директора до последнего сторожа, которые в холоде и голоде отстаивали каждую мелочь великолепных памятников, им доверенных».

...Миллионы и миллионы людей со всех концов Советской страны и изо всех стран мира ежегодно стекаются сюда, в эрмитажные залы; наслаждаясь и познавая, переходят они из зала в зал, из отдела в отдел и читают, не отрываясь, как увлекательную книгу, эту монументальную историю искусства и культуры человечества. Долго и кропотливо эрмитажные ученые собирали воедино разрозненные листы этой бесконечной книги, сверяли и корректировали устаревшие страницы, заново писали недостающие главы. И народ оценил ту науку, которая и здесь, в Эрмитаже, не отгораживается от него и готова передать ему все свои завоевания,— в 1964 году, когда Эрмитажу исполнилось 200 лет, он был награжден орденом Ленина.

Ленин говорил:

«Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество».

Ленинград
1965—1975

Архив Государственного Эрмитажа.

Документы и материалы из фондов Ленинградского государственного архива Октябрьской революции и социалистического строительства, Центрального государственного архива литературы и искусства, Ленинградского государственного архива литературы и искусства, архива Государственного Русского музея, Рукописного отдела Института русской литературы (Пушкинского дома) Академии наук СССР, Центрального государственного архива кинофото-документов СССР, Ленинградского государственного архива кинофото-документов.

Ленин В. И. Что можно сделать для народного образования. — ПСС, т. 23.

Ленин В. И. К населению. — ПСС, т. 35.

Ленин В. И. Ответ на запросы крестьян. — ПСС, т. 35.

Ленин В. И. Декрет об аресте вождей гражданской войны против революции. — ПСС, т. 35.

Ленин В. И. Запуганные крахом старого и борющиеся за новое. — ПСС, т. 35.

Ленин В. И. Социалистическое отечество в опасности. — ПСС, т. 35.

Ленин В. И. Седьмой экстренный съезд РКП(б) 6—8 марта 1918 г. 1. Политический отчет Центрального Комитета 7 марта. — ПСС, т. 36.

Ленин В. И. О голоде (Письмо к питерским рабочим). — ПСС, т. 36.

Ленин В. И. Речь на II Всероссийском съезде комиссаров труда 22 мая 1918 г. — ПСС, т. 36.

Ленин В. И. Речь об организации профессионального союза сельскохозяйственных рабочих (Заседание I съезда сельскохозяйственных рабочих Петроградской губернии 13 марта 1919 г.). — ПСС, т. 38.

Ленин В. И. К рабочим и красноармейцам Петрограда. — ПСС, т. 39.

Ленин В. И. Привет петроградским рабочим. — ПСС, т. 39.

Ленин В. И. На борьбу с топливным кризисом. Циркулярное письмо к партийным организациям. — ПСС, т. 39.

Ленин В. И. Доклад на II Всероссийском съезде коммунистических организаций народов Востока 22 ноября 1919 г. — ПСС, т. 39.

Ленин В. И. Пример петроградских рабочих. — ПСС, т. 39.

Ленин В. И. Предисловие к книге Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир». — ПСС, т. 40.

Ленин В. И. Речь на беспартийной конференции рабочих и красноармейцев Пресненского района 24 января 1920 г. — ПСС, т. 40.

Ленин В. И. Речь на конференции железнодорожников 5 февраля 1920 г. — ПСС, т. 40.

Ленин В. И. Коль война, так по-военному. — ПСС, т. 40.

Ленин В. И. Задачи союзов молодежи (Речь на III Всероссийском съезде Российского Союза Молодежи 2 октября 1920 г.). — ПСС, т. 41.

Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 1—7. М., Политиздат, 1970—1976.

Газеты: центральные — «Правда», 1917—1924; «Известия», 1917—1924; петроградские — «Петроградская правда», 1918—1924; «Красная газета», 1918—1924; «Северная коммуна», 1918—1919; «Смена», 1919—1924.

Агитационно-массовое искусство первых лет Октября. Материалы и исследования. М., «Искусство», 1971.

Академик Иосиф Абгарович Орбели (Биографический очерк). — В кн.: Исследования по истории культуры народов Востока (Сборник в честь академика И. А. Орбели). М.—Л., Изд-во АН СССР, 1969.

Алтухов А. Забота В. И. Ленина о памятниках культуры и искусства. — «Искусство», 1962, № 4.

«Аполлон», 1917, № 1—10.

Бачх А. В. Восточные собрания Эрмитажа (Общая характеристика. Основные линии исследования). Л., изд. Гос. Эрмитажа, 1960.

Бачх А., Пиотровский Б. Отдел Востока в Эрмитаже. — Сообщения Гос. Эрмитажа, вып. 19, 1960.

Бенуа Александр. Аналогичи. — «Новая жизнь», 1917, 30 апреля (13 мая).

Бенуа Александр. Ленинградские особняки. — «Музей», 1924, № 2.

Бенуа Александр. Письма к советским художникам и искусствоведам. — В кн.: Александр Бенуа размышляет. М., «Советский художник», 1968.

Бенуа Александр. Предисловие к альбому автолитографий А. П. Остроумовой «Петербург». Пб., изд. Комитета популяризации худ. изд., 1922.

Бенуа Александр. Путеводитель по картинной галерее Императорского Эрмитажа. СПб., Изд. общины св. Евгении.

Бенуа Александр. Чудеса и благоразумие. — В кн.: Александр Бенуа размышляет. М., «Советский художник», 1968.

Библиотека Ленина в Кремле. М., изд. Всесоюзной книжной палаты, 1961.

Блок Александр. Автобиография. — Собр. соч., т. 7. М.—Л., Гослитиздат, 1963.

Блок Александр. Дневники. 1901—1921. — Собр. соч., т. 7.

Блок Александр. Записные книжки 1901—1920. М., «Художественная литература», 1965.

Блок Александр. Интеллигенция и Революция. — Собр. соч., т. 8. Л., «Советский писатель», 1936.

Большой Кремлевский дворец. Указатель к его обозрению. Составитель С. П. Бартев. М., 1909.

Брайнин И. Бестужевки. — «Новый мир», 1974, № 9.

Буллит В. Отчет о поездке в Россию <в 1919 г.>. — В кн.: Гражданская война в Сибири и Северной области. Ч. III. Из истории интервенции. М.—Л., Гос. издательство, 1927.

Быстрянский В. Революция и культура. — «Петроградская правда», 1918, 30 октября.

Вюккенен Джордж. Мемуары дипломата. М., Госиздат, 1924.

Вайман И. А. Забота В. И. Ленина о Московском Кремле. — В сб.: Из истории строительства советской культуры. Москва 1917—1918. Документы и воспоминания. М., «Искусство», 1964.

Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников, т. 1—2. Л., «Художник РСФСР», 1971.

Варшавский С., Рест Б. Подвиг Эрмитажа (Государственный Эрмитаж в годы Великой Отечественной войны). Л., «Советский художник», 1966.

Варшавский С., Рест Б. Рядом с Зимним (Эрмитаж перед Октябрем). Л., «Советский художник», 1969.

Варшавский С., Рест Б. Эрмитаж. 1774—1929. Очерки из истории Государственного Эрмитажа. Л.—М., «Искусство», 1939.

Верейская Е. Близкое-далекое. Воспоминания (Рукопись).

В. И. Ленин и А. В. Луначарский. Переписка, доклады, документы. — «Литературное наследство», т. 80. М., «Наука», 1971.

В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы. М., «Наука», 1969.

Вильямс Альберт Рис. Народные массы в русской революции. М.—Л., Госиздат, 1925.

Вильямс Альберт Рис. Новая Россия глазами американцев. Главы из книги. — «Иностранная литература», 1967, № 5.

Вильямс Альберт Рис. О Ленине и Октябрьской революции. — В кн.: Об Октябрьской революции. Воспоминания зарубежных участников и очевидцев. М., Политиздат, 1967.

Виноградов П. Д. Воспоминания о монументальной пропаганде. — «Искусство», 1939, № 1.

Воинов В. В. Дневники 1922 года. (Рукопись).

Воинов В. В. Степан Петрович Яремич. — В сб.: Силуэты (Рукопись).

Воронихина А., Люлина Р. Эрмитаж в акварелях, рисунках, чертежах конца XVIII—середины XIX века. Каталог временной выставки из фондов Государственного Эрмитажа. Л., «Советский художник», 1964.

Воронихина А. Н., Соколова Т. М. Эрмитаж. Здание и залы музея. Л., «Советский художник», 1967.

Гарданов В. К. Музейное строительство и охрана памятников культуры в первые годы Советской власти (1917—1920). — В кн.: История музейного дела в СССР. М., Госкультпросветиздат, 1957.

Георги И. Описание Российской-Императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного. СПб., 1794.

Год работы Центральной комиссии по улучшению быта ученых при Совете Народных Комиссаров (ЦЕКУБУ). Декабрь 1921 г. — декабрь 1922 г. М., 1922.

Горький М. Леонид Красин. — Полн. собр. соч., т. 17. М., Гослитиздат, 1952.

Горький М. Невзданная переписка. — Архив А. М. Горького, т. 14. М., «Наука», 1976.

Горький М. Письмо С. Ф. Ольденбургу 22 августа 1925 г. — Собр. соч., т. 29. М., Гослитиздат, 1955.

Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 1909 год. Сессия вторая, ч. 3. СПб., 1909.

Государственный Эрмитаж. Отдел западноевропейского искусства. Каталог живописи. Л.—М., «Искусство», 1958.

Грбарь Игорь. Моя жизнь. Автобиография. М.—Л., «Искусство», 1937.

- Грaбарь Игорь*. Письма. 1891—1917. М., «Наука», 1974.
- Грaбарь Игорь*. Валентин Александрович Серов. Жизнь и творчество. 1865—1911. М., «Искусство», 1965.
- Гречнев В.* Горький в Петербурге — Ленинграде. Л., Лениздат, 1968.
- Григорович Д. В.* Прогулка по Эрмитажу. СПб., 1865.
- Гюзальян Л. И. А. Орбели* (1887—1961). — Сообщения Гос. Эрмитажа, вып. 22, 1962.
- Дементьев М.* Камин с пастушкой. К 200-летию Эрмитажа. — «Советская Россия», 1964, 21 декабря.
- Донесения комиссаров Петроградского Военно-Революционного комитета. М., Госполитиздат, 1957.
- Драбкина Е.* Над ленинскими томами. — «Литературная газета», 1966, 5 ноября.
- Драбкина Е.* Черные сухари. Повесть о ненаписанной книге. М., «Советский писатель», 1963.
- Дрейден Сим.* В зрительном зале — Владимир Ильич. М., «Искусство», 1967.
- Елкин А.* Луначарский. ЖЗЛ. М., «Молодая гвардия», 1967.
- Ерыкалов В. И.* Доклад заведующего Государственным Музейным фондом на Губернской Музейной Конференции 1923 года. — «Музей», 1924, № 2.
- Жиль Ф.* Императорский Эрмитаж. — В кн.: Музей Императорского Эрмитажа. Описание различных собраний, составляющих музей, с историческим введением об Эрмитаже Екатерины II и о образовании музея Нового Эрмитажа. СПб., 1861.
- Жуковский В. А.* Письмо А. С. Пушкину. — *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 15. Л., Изд-во АН СССР, 1948.
- Заупокойный культ Древнего Египта. Путеводитель по выставке в залах Эрмитажа. Составитель В. В. Струве. Пб., изд. Отдела по делам музеев и памятников старины, 1919.
- Зильберштейн И.* Выдающийся писатель-искусствовед. — «Литературная Россия», 1968, 30 августа.
- Зильберштейн И. С., Савинов А. Н.* Литературное и эпистолярное наследие Александра Бенуа. 1917—1960. — Вступительная статья к кн.: Александр Бенуа размышляет. М., «Советский художник», 1968.
- Ишбер В.* Почти три года (Ленинградский дневник). — Избр. соч., т. 3. М., Гослитиздат, 1958.
- История Государственной ордена Трудового Красного Знамени Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., Лениздат, 1963.
- Каменская Т.* Отдел западноевропейского искусства Эрмитажа. Отделение рисунков. — Сообщения Гос. Эрмитажа, вып. 15, 1959.
- Каталог первой Государственной свободной выставки произведений искусства. Пб., 1919.
- Каталян В.* Маяковский. Литературная хроника. М., Гослитиздат, 1956.
- Каталян Р. П.* За спиной «мадонны» (Письмо в редакцию). — «Комсомольская правда», 1965, 21 ноября.
- Кольцов М.* Внутренне счастливый. — Избр. произв., т. 2. М., Гослитиздат, 1957.
- Коненков С. Т.* Мой век. М., Политиздат, 1971.
- Коншин Б.* Флорентийская «мадонна». — «Советская культура», 1973, 29 июня.
- Крупская Н. К.* Воспоминания о Ленине. М., Политиздат, 1968.

Курришксы (М. В. Куприянов, П. Н. Крылов, Н. А. Соколов). Александр Бенуа — наш собеседник. — «Литературная газета», 1968, 23 октября.

Культурная жизнь в СССР. 1917—1927. Хроника. М., «Наука», 1975.

Кундиус В. С. На заре советской культуры. — В сб.: Из истории строительства советской культуры. Москва 1917—1918. Документы и воспоминания. М., «Искусство», 1964.

Лариса Рейснер в воспоминаниях современников. М., «Советский писатель», 1969.

Лебедев П. И. Советское искусство в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. М.—Л., «Искусств», 1949.

Левинсон-Лессинг В. Вступительная статья. — В альбоме: Государственный Эрмитаж. Голландская и фламандская живопись. Прага, «Артия» и Л., Изд-во Гос. Эрмитажа, 1962.

Левинсон-Лессинг В. Вступительная статья. — В альбоме: Государственный Эрмитаж. Живопись XIV—XVI веков. Прага, «Артия» и Л., «Советский художник», 1964.

Левинсон-Лессинг В. Вступительная статья. — В альбоме: Государственный Эрмитаж. Живопись XVII—XVIII веков. Прага, «Артия» и Л., Изд-во Гос. Эрмитажа, 1964.

Левинсон-Лессинг В. Ф. Вступительная статья. — В каталоге: Выставка картин и рисунков русских художников начала XX века из собрания Ф. Ф. Нотгафта. Л., Изд-во Гос. Эрмитажа, 1962.

Левинсон-Лессинг В. Ф. Научная и музейная деятельность М. В. Доброклонского. Л., Изд-во Гос. Эрмитажа, 1959.

Левинсон-Лессинг В. Ф. Очерк истории собрания. — В каталоге: Государственный Эрмитаж. Отдел западноевропейского искусства. Каталог живописи, т. 1. Л.—М., «Искусство», 1958.

Левинсон-Лессинг В. Ф. С. П. Яремич (1869—1939). — Сообщение Гос. Эрмитажа, вып. 2, 1940.

Левинсон-Лессинг В. Ф. Из воспоминаний¹.

Легран Б. В. Социалистическая реконструкция Эрмитажа. Л., [изд. Гос. Эрмитажа], 1934.

Лежава О., Нелидов Н. М. С. Ольминский. Жизнь и деятельность. М., Политгиздат, 1973.

Ленц Э. Предисловие к кн.: Императорский Эрмитаж. Указатель Отделения Средних веков и эпохи Возрождения, ч. 1. Собрание оружия. СПб., 1908.

Летопись жизни и творчества А. М. Горького. Вып. 3. М., Изд-во АН СССР, 1959.

Лещенко Дм. Из области искусств. Вечера в Зимнем дворце. — «Петроградская правда», 1918, 3 апреля (21 марта).

Луговцова А. Особое поручение. — «Ленинградская правда», 1964, 21 октября.

Луначарский А. В. В трудный час. — «Известия», 1917, 7 (20) ноября.

Луначарский А. В. Доклад на заседании ГУС Наркомпроса. — «Народное просвещение», 1925, № 1.

Луначарский А. В. Из Октябрьских воспоминаний. — В кн.: А. В. Луначарский. Воспоминания и впечатления. М., «Советская Россия», 1968.

Луначарский А. В. Александр Николаевич Радисhev. — Собр. соч., т. 1. М., «Художественная литература», 1964.

¹ Здесь и далее звездочкой обозначены записи воспоминаний, сделанные в разные годы авторами книги.

Луначарский А. В. Как мы запыли Министерство народного просвещения. — В кн.: А. В. Луначарский. Воспоминания и впечатления. М., «Советская Россия», 1968.

Луначарский А. В. К 200-летию Всесоюзной Академии наук. — В кн.: А. В. Луначарский. Воспоминания и впечатления. М., «Советская Россия», 1968.

Луначарский А. В. Классовая борьба в искусстве. — Собр. соч., т. 8. М., «Художественная литература», 1967.

Луначарский А. В. Ленин и искусство. Воспоминания. — Собр. соч., т. 7. М., «Художественная литература», 1967.

Луначарский А. В. Ленин и литературоведение. — Собр. соч., т. 8. М., «Художественная литература», 1967.

Луначарский А. В. Ленин о монументальной пропаганде. — В кн.: А. В. Луначарский. Воспоминания и впечатления. М., «Советская Россия», 1968.

Луначарский А. В. Ложка противоядия. — Собр. соч., т. 2. М., «Художественная литература», 1964.

Луначарский А. В. Монументальная агитация. — В кн.: А. В. Луначарский. Статьи об искусстве. М.—Л., «Искусство», 1941.

Луначарский А. В. Народные концерты государственного оркестра. — «Петроградская правда», 1918, 27 ноября.

Луначарский А. В. На советские рельсы. — В кн.: А. В. Луначарский. Воспоминания и впечатления. М., «Советская Россия», 1968.

Луначарский А. В. Первое мая 1918 года. Эскизы из записной книжки. — В кн.: А. В. Луначарский. Воспоминания и впечатления. М., «Советская Россия», 1968.

Луначарский А. В. Первый Первомайский праздник после победы. — «Красная пива», 1926, № 18.

Луначарский А. В. Почему мы охраняем церковные ценности. — В кн.: А. В. Луначарский об изобразительном искусстве, т. 2. М., «Советский художник», 1967.

Луначарский А. В. Принципы художественной политики в России (Из литературного наследия А. В. Луначарского). — «Новый мир», 1966, № 9.

Луначарский А. В. Речь на первой музейной конференции. Газетный отчет. — «Искусство коммуны», 1919, № 11.

Луначарский А. В. Смольный в великую ночь. — В кн.: А. В. Луначарский. Воспоминания и впечатления. М., «Советская Россия», 1968.

Луначарский А. В. Советская власть и памятники старины. — В кн.: А. В. Луначарский. Статьи об искусстве. М.—Л., «Искусство», 1941.

Луначарский А. В. Тьма. — Собр. соч., т. 1. М., «Художественная литература», 1963.

Луначарский А. В. Ф. Э. Дзержинский в Наркомпросе. — В кн.: А. В. Луначарский. Воспоминания и впечатления. М., «Советская Россия», 1968.

Любарский А. Три страницы жизни. К 100-летию со дня рождения А. М. Горького. — «Ленинградская правда», 1968, 24 марта.

Любарский М. Три выстрела. — «Звезда», 1967, № 11.

Максимова М. Из воспоминаний*.

Мальков П. Записки коменданта Кремля. М., «Молодая гвардия», 1967.

Мария Федоровна Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. — В кн.: Воспоминания о М. Ф. Андреевой. М., «Искусство», 1963.

Матве М. Надежда Давыдовна Флиттнер (1879—1957). — Сообщения Гос. Эрмитажа, вып. 14, 1958.

Мацулевич Ж. А. В Эрмитаже. — В кн.: Бестужевки в рядах строителей социализма. М., «Мысль», 1969.

Мацулевич Ж. А. Подгруппа истории и теории искусства. — В кн.: Санкт-петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы (1878—1918 гг.). Л., Изд-во Ленинградского университета, 1965.

Маяковский Владимир. За что борется ЛЕФ? — Полн. собр. соч., т. 12. М., Гослитиздат, 1959.

Маяковский Владимир. Умер Александр Блок. — Полн. собр. соч., т. 12.

Маяковский Владимир. Я сам. — Полн. собр. соч., т. 1. М., Гослитиздат, 1955.

М. Горький и сын. Письма. Воспоминания. — Архив А. М. Горького, т. 13. М., «Наука», 1971.

Менделеев А. И. Менделеев в жизни. М., изд. М. и С. Сабашниковых, 1928.

Милановский Владимир. Вчера, позавчера. Воспоминания художника. Л., «Художник РСФСР», 1972.

Мишурков В., Никитин П. Здесь жил и работал Ленин. По памятным ленинским местам Ленинграда и окрестностей. Л., Лениздат, 1965.

Нейман М. Из истории советского искусства (Мемориальные доски и надписи послереволюционных лет). — «Искусство», 1955, № 1.

Об Октябрьской революции. Воспоминания зарубежных участников и очевидцев. М., Политиздат, 1967.

Октябрьское вооруженное восстание. Семнадцатый год в Петрограде. Л., «Наука», 1967.

Ольденбург С. Ф. Две встречи. Воспоминания академика С. Ф. Ольденбурга о встречах с В. И. Лениным в 1887 и 1921 годах. — В кн.: Ленин и Академия наук. М., «Наука», 1969.

Ольдерогге Д. А., Матвеев В. В. В. В. Струве. — «Советская этнография», 1966, № 2.

Орановский Е. В. Кремль — Акрополь (Страницы воспоминаний). — В кн.: Из истории строительства советской культуры. Москва 1917—1918. Документы и воспоминания. М., «Искусство», 1964.

Орбели И. А. Воспоминания студенческих лет. Из стенограммы. — В кн.: Юзбашян К. Н. Академик Иосиф Абгарович Орбели. М., «Наука», 1964.

Орбели Иосиф. Вступительная статья. — В каталоге выставки: «Мусульманский Восток». Л., 1925.

Орбели И. А. Из воспоминаний*.

Орбели И. А. О чем думалось в дни и ночи блокады Ленинграда. — В сб.: Дружба, кн. 2. Ереван, Армянское гос. изд-во, 1960.

Оснос Ю. Октябрьская революция и памятники художественной культуры. — «Искусство», 1940, № 6.

Первая конференция по делам музеев. Газетный отчет. — «Искусство коммуны», 1919, № 11.

Первая эрмитажная выставка. Путеводитель. Пб., Госиздат, 1920.

Передольская А. А. Оскар Фердинандович Вальдгауер. — В кн.: О. Ф. Вальдгауер. Этюды по истории античного портрета. М.—Л., ОГИЗ—ИЗОГИЗ, 1958.

Перелиска А. М. Горького с зарубежными литераторами. — Архив А. М. Горького, т. 8. М., Изд-во АН СССР, 1960.

Персианова О. М. Эрмитаж. Путеводитель. Л., «Советский художник», 1969.

Петров Ф. Н. Ленин всегда с нами. — В кн.: О Владимире Ильиче Ленине (Воспоминания. 1900—1922 годы). М., Политиздат, 1963.

Петроградский Военно-революционный комитет. Документы и материалы, т. 1—3. М., «Наука», 1966.

Подобедова О. И. Игорь Эммануилович Грабарь. М., «Советский художник», 1964.

Полетаев Е., Пунин Н. Долой цивилизацию. Пб., 1918.

Пунин Н. Искусство и пролетариат. — «Изобразительное искусство», 1919, № 1.

Рейснер Лариса. В Зимнем дворце. — В кн.: Избранное. М., «Художественная литература», 1965.

Рейснер Лариса. Суботник. — В кн.: Избранное. М., «Художественная литература», 1965.

Рид Джон. Десять дней, которые потрясли мир. М., Гослитиздат, 1957.

Ромаченко О. Товарищ князь. — «Советская культура», 1967, 22 июня.

Русаков Ю. Вступительная статья. — В каталоге выставки гравюр и литографий из собрания Г. С. Верейского. Л., «Советский художник», 1966.

Сивков А. В. От Великого Октября до 1941 года (Подготовлено к печати Т. М. Соколовой). — В кн.: Эрмитаж. История и архитектура зданий. Л., «Аврора», 1974.

Сизов А. В. Реконструкция Зимнего дворца. — Сообщения Гос. Эрмитажа, вып. 14, 1958.

Смирнов И. С. Ленин и советская культура. Государственная деятельность В. И. Ленина в области культурного строительства (октябрь 1917 г. — лето 1918 г.). М., Изд-во АН СССР, 1960.

Смелин В. Н. Как стреляли по Зимнему дворцу 25 октября 1917 года. — В альманахе «Прометей», т. 4. М., «Молодая гвардия», 1967.

Советский театр. Документы и материалы. Русский советский театр. 1917—1921. Л., «Искусство», 1968.

Советское искусство за 15 лет. Материалы и документация. М.—Л., ОГИЗ—ИЗОГИЗ, 1933.

Соколова Т. Залы Зимнего дворца и Эрмитажа. Краткий историко-архитектурный очерк. Л., Изд-во Гос. Эрмитажа, 1963.

Спаский И. Г. Отдел нумизматики Эрмитажа. — Сообщения Гос. Эрмитажа, вып. 18, 1960.

Старцев А. Десять дней. — «Иностранная литература», 1937, № 11.

Старцев А. Русские блокноты Джона Рида. М., «Советский писатель», 1968.

Сто двадцать четыре дня. Ленин в Смольном. Л., Лениздат, 1970.

Страницы жизни. Публикация Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. — «Юность», 1958, № 4.

Суслов А. Зимний дворец (1754—1927). Исторический очерк. Л., изд. Комитета популяризации художественных изданий при Гос. академии истории материальной культуры, 1928.

Суслов А. Комнатное убранство Эрмитажа. Л., изд. Комитета популяризации художественных изданий при Гос. академии истории материальной культуры, 1929.

Суслов А. Эрмитаж. Краткий исторический очерк. Л., изд. Комитета популяризации художественных изданий при Гос. академии истории материальной культуры, 1928.

Гарле Е. В. Историк-патриот. — В сб.: Дружба, кн. 2. Ереван, Армянское гос. изд-во, 1960.

Толстой Д. И. Автобиографические записки (Рукопись).

Тревер К. В. Из воспоминаний*.

Усанов П. Поиск. Тайны Юсуповского дворца. — «Смена», 1968, 21, 23, 24, 25, 26 и 27 апреля.

Уэллс Герберт. Россия во мгле. М., «Прогресс», 1970.

Федоров-Давыдов А. Советский художественный музей. М., ОГИЗ—ИЗОГИЗ, 1933.

Федюкин С. А. Великий Октябрь и интеллигенция. Из истории вовлечения старой интеллигенции в строительство социализма. М., «Наука», 1972.

Фехнер Е. Ю. Из воспоминаний*.

Флаксерман Ю. Н. Из воспоминаний*.

Флаксерман Ю. Страницы прошлого. — «Новый мир», 1968, № 11.

Цвейг Стефан. Вчерашний мир. Главы из книги. — «Нева», 1972, № 3.

Цвейг Стефан. Сокровища Эрмитажа. Из очерков об СССР. — «Огонек», 1929, № 26.

Цеткин Клара. Воспоминания о Ленине. М., Госполитиздат, 1955.

Чернова Г. А. Георгий Семенович Верейский. М., «Искусство», 1965.

Чуковский Корней. Луначарский. — В кн.: Корней Чуковский. Современники. Портреты и этюды. ЖЗЛ. М., «Молодая гвардия», 1967.

Шервуд Л. Воспоминания о монументальной пропаганде в Ленинграде. — «Искусство», 1939, № 1.

Шервуд Л. Путь скульптора. М.—Л., «Искусство», 1937.

Шкловский В. Жили-были. М., «Советский писатель», 1961.

Шмераль Бугомир. Правда о Советской России (Отрывки из книги). — «Иностранная литература», 1967, № 4.

Щербачева М. И. Из воспоминаний*.

Эрмитаж за десять лет. 1917—1927. Краткий отчет. Л., изд. Гос. Эрмитажа, 1928.

Эрмитаж за 200 лет (1764—1964). История и состав коллекций, работа музея. Л.—М., «Советский художник», 1966.

Эрмитаж. История и архитектура зданий. Л., «Аврора», 1974.

Эфрос А. Концы без начал. — В альманахе «Шиповник», 1922, № 1.

Эфрос А. Петербургское и московское собирательство (Параллели). — «Среди коллекционеров», 1921, № 4.

Юзбашян К. Н. Академик Иосиф Абгарович Орбели. М., «Наука», 1964.

Юрса Ю. Подписано Лениным. М., Политиздат, 1970.

Якубовский А. Академик Иосиф Абгарович Орбели (к 60-летию со дня рождения). — «Вестник древней истории», 1947, № 4.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть третья	3
Основные источники	197

**Сергей Петрович Варшавский,
Юлий Исаакович Рест (Б. Рест)**

**БИЛЕТ
НА ВСЮ
ВЕЧНОСТЬ**

Повесть об Эрмитаже

В трех частях

Часть третья

Зав. редакцией А. М. Березина
Редактор Э. А. Ремизова
Художник Л. А. Уврод
Художественный редактор А. А. Власов
Технический редактор Г. В. Преснова
Корректор Т. В. Мельникова

■

ИБ № 6703

Сдано в набор 29.10.83. Подписано к печати 18.04.86.
Формат 84×103^{1/2}. Бумага тип. № 1. Гарн. литерат.
Печать высокая. Усл. печ. л. 10,90+вкл. 0,84. Усл. кр.-
отт. 12,29. Уч.-изд. л. 12,08+0,64=12,72. Тираж 100 000 экз.
Заказ № 235. Цена 50 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени Ланнедат, 191023,
Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного
Знамени типография им. Володарского Ланнедата,
191023, Ленинград, Фонтанка, 67.

Варшавский С., Рест Б.

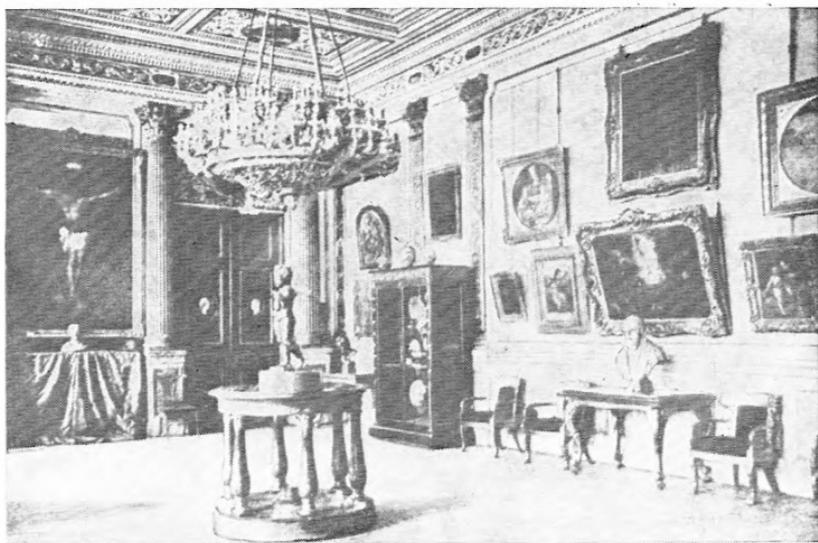
В18 **Билет на всю вечность: Повесть об Эрмитаже.**
В трех частях. Часть третья.— 3-е изд.— Л.: Лен-
издат, 1986. — 206 с., ил.

В художественно-документальной повести, посвященной истории одного из крупнейших музеев мира, рассказывается о драматических событиях, связанных с коренными переменами, которые внесла в жизнь Эрмитажа Великая Октябрьская социалистическая революция.

В $\frac{4992020000-094}{M171(03)-86}$ 158-86

ББК 49.1

Первая Эрмитажная выставка.
Наверху — «Большой зал»,
внизу — зал итальянского
и испанского искусства XIV—
XVII вв.



«Я начал... работу
в Государственном
Эрмитаже
с 1914 года...»
Академик
В. В. Струве.
Фотография
1950-х годов.

Организацей
выставки,
пропагандирующей
материалистические
взгляды на историю
религий,
занимался
В. В. Струве.

Кандидатура
Василия Струве
была поддержана
академиком
Тураевым.



Борисъ Александровичъ
Тураевъ
Профессоръ Императорскаго Университета
*издательский отдел В. В.
Струве, редактор И. Д. Гуров -
моя первая редакция классического
русского языка в издательстве В. В. Струве*
В. О. 2. 1. 1. 1. Тел. 171-91.

Профессор
М. И. Максимова
(справа) — первая
женщина, избранная
эрмитажным
хранителем.
Фотография 1920-х
годов.

В 1919 году заняла
должность
помощника
хранителя
К. В. Тревер.
Фотография 1920-х
годов.

Советскому
Эрмитажу
профессор
Н. Д. Флиттнер
отдала второе
сорокалетие своей
долгой жизни.



Владимир Ильич Ленин.
Рисунок с натуры, сделанный
Г. С. Верейским 19 июля
1920 года на открытии Второго
конгресса Коминтерна
в Таврическом дворце.

Угловой штамп и гербовая
печать Штаба чрезвычайного
уполномоченного ВЦИК по
решакуации петроградских
музеев.



РСФСР

ШТАБ

Чрезвычайного Уполномоченного

при

ВЦИК

по Решакуации Петроградских

МУЗЕЕВ

МОСКВА

Кремль, Большой Дворец

Телефон №

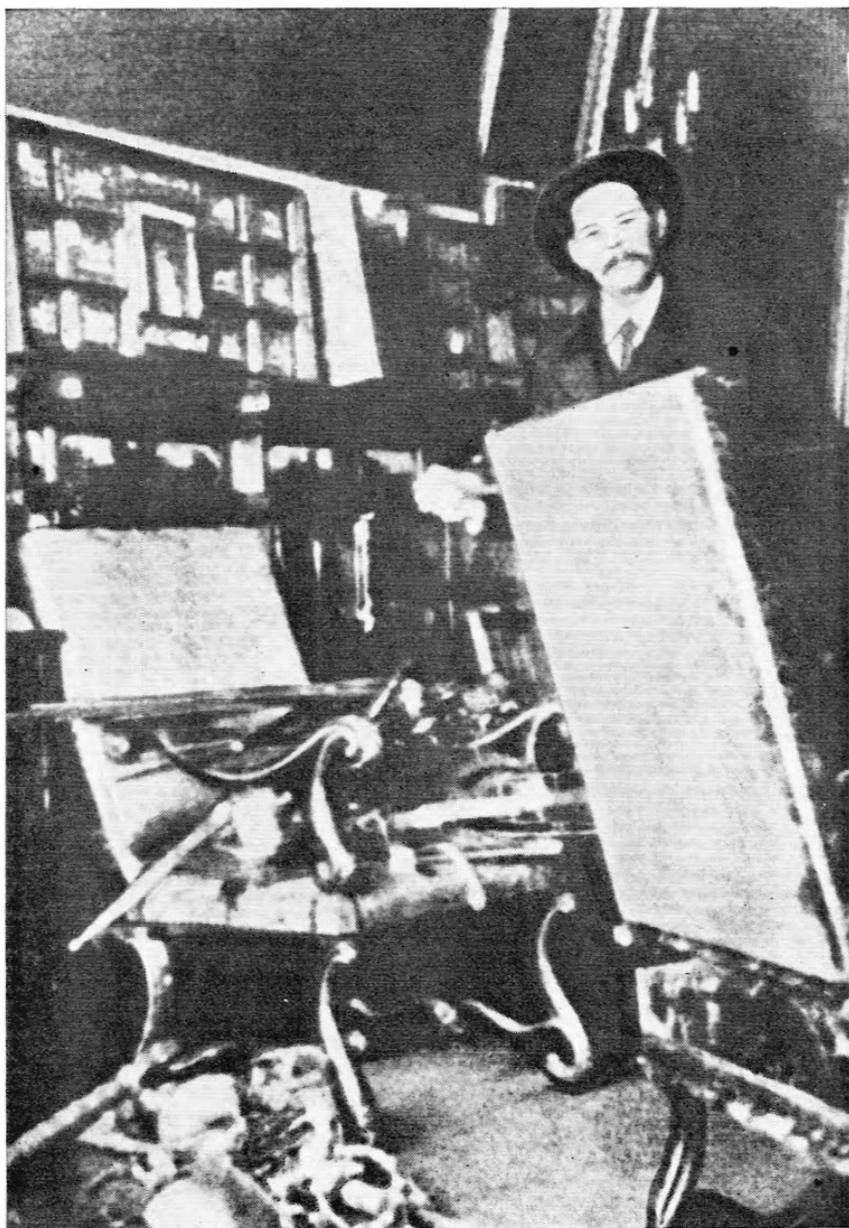
ПЕТРОГРАД бывш. Зимний Дворец

Телефон № 1-07



Антикварно-экспертная комиссия, возглавляемая Алексеем Максимовичем Горьким, передала Эрмитажу и другим музеям множество произведений искусства.

А. М. Горький в хранилище художественных ценностей петроградской экспертной комиссии. Фотография 1920 года.



Участники перевозки коллекций Эрмитажа из Москвы в Петроград у эрмитажных атлантов. Справа — начальник ЦУПВОСО М. М. Аржанов, слева — профессор Л. А. Мацулевич.

Первый ящик был внесен 18 ноября в десять часов вечера, последний — в семь утра.



Первая страница печатной
памятки, выпущенной
к открытию зала Рембрандта
28 ноября 1920 года.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ.

16 СЕНТЯБРЯ 1917.

28 НОЯБРЯ 1920.

Осенью 1917 г. по постановлению Временного Правительства была эвакуирована в Москву большая часть собраний Эрмитажа. Первый транспорт был отправлен в ночь с 16 на 17 сентября, второй — в ночь с 6 на 7 октября. Назначенное на 29 октября отправление третьего транспорта было задержано Октябрьским переворотом, а вслед затем эвакуация была приостановлена Советской властью. Всего из Эрмитажа было вывезено восемьсот одиннадцать ящиков и баулов. После эвакуации в Эрмитаже могли быть открыты для осмотра только небольшая часть Отделения античного и Отделения гравюр и рисунков.

В Москве коллекции Эрмитажа были помещены в Собственной половине Большого Кремлевского Дворца, в Оружейной палате и в Историческом Музее.

В июне 1918 г. Московской Коллегией по делам музеев был поднят вопрос о перевозке ящиков из Дворца в новое помещение, в видах большей безопасности: Совет Эрмитажа возражал против лишнего пе-

О. Ф. Вальдгауер.
Рисунок Александра
Бенуа. Декабрь,
1920.

Александр Бенуа.
Рисунок
Г. С. Верейского.
1921.

Г. С. Верейский.
Рисунок Александра
Бенуа. 1921.



Г. С. Верейский. Портрет
Иосифа Орбели. 1926.



Г. С. Верейский. Портрет
Б. Ф. Фармаковского. 1926.

Г. С. Верейский. Портрет
С. П. Яремича. 1922.

Г. С. Верейский. Портрет
А. А. Ильина. 1926.

Г. С. Верейский. Портрет
В. В. Воинова. 1926.



Александр Бенуа. Портрет
В. Ф. Левинсона-Лессинга. 1921.

Г. С. Верейский. Портрет
Ф. Ф. Нотгафта. 1921.

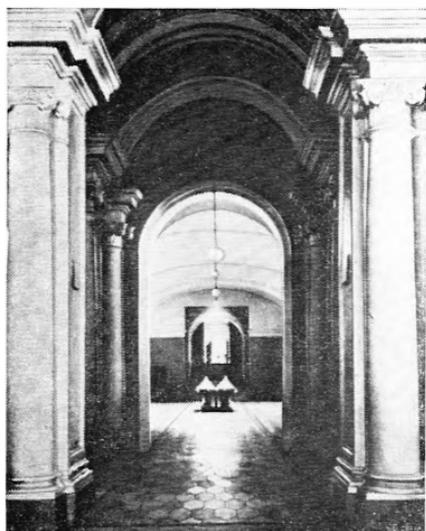
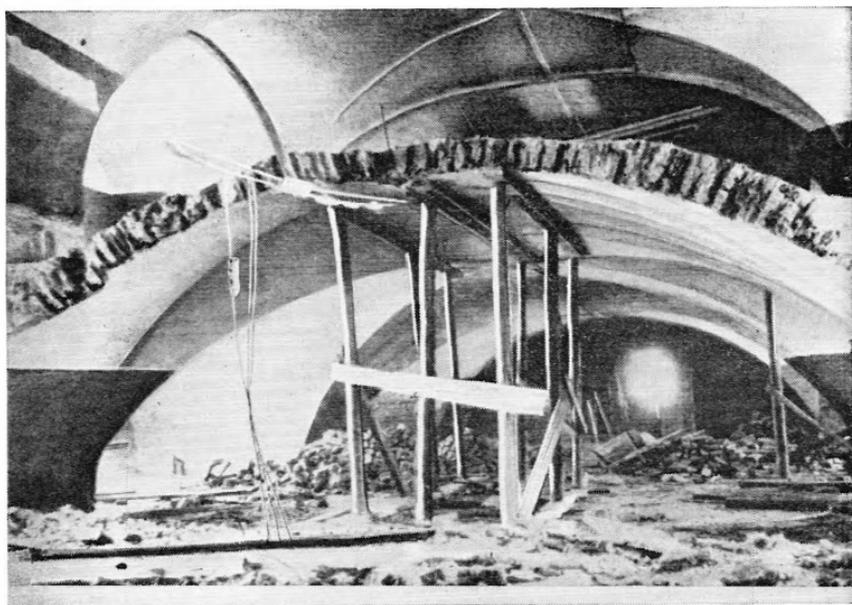


Александр Бенуа —
М. В. Доброклонскому: «И я
вспоминаю о тех минувших,
почти полвека назад, годах,
когда мы так дружно, так
«уютно» служили искусству
под величественными сводами
нижних зал Эрмитажа...»

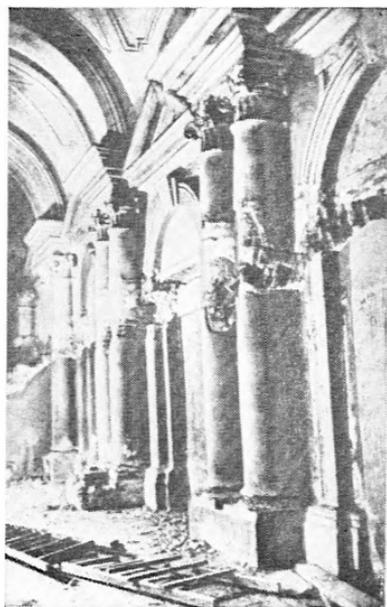
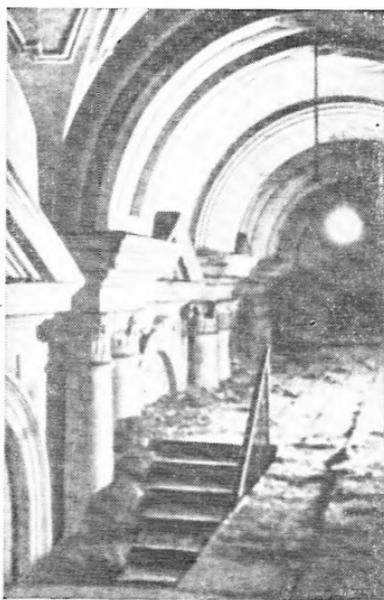
Александр Бенуа —
Т. Д. Каменской:
«...Ах, Эрмитаж! Ну, как это
я мог его покинуть?..»
М. В. Доброклонский и
Т. Д. Каменская. Рисунок
Э. О. Визеля. 1931.
Из собр. А. Н. Ворониной.



Когда разобрали стены,
своды и лестницы низкого и
темного дворцового Главного
буфета, получился огромный
выставочный зал.



Были разобраны антресоли,
лестницы и стены в так
называемом Кухонном коридоре,
скрывававшем стройные ряды
колонн...



...И на месте расположенных
в два яруса хозяйственных
кладовых была возрождена
двухнефная галерея — в том
виде, в каком задумал ее
Растрелли.



А. В. Луначарский: «Мы сумели сохранить наши музеи...»
А. В. Луначарский и Г. С. Ятманов среди музейных работников Ленинграда.
Фотография 1920-х годов.





Художественно-документальная повесть известных ленинградских писателей С. Варшавского и Б. Реста посвящена истории Эрмитажа. Авторы, используя большой фактический материал, рассказывают, как с первых дней и даже с первых часов существования Советской власти партия большевиков повела борьбу за превращение всех художественных ценностей страны в истинное достояние народа.

